КСБ
Б-75

Боевые ребята

№ 4

ОГИЗ СВЕРДЛГИЗ 1943

С8
Б75

БОЕВЫЕ РЕБЯТА

Альманах
для семьи и школы

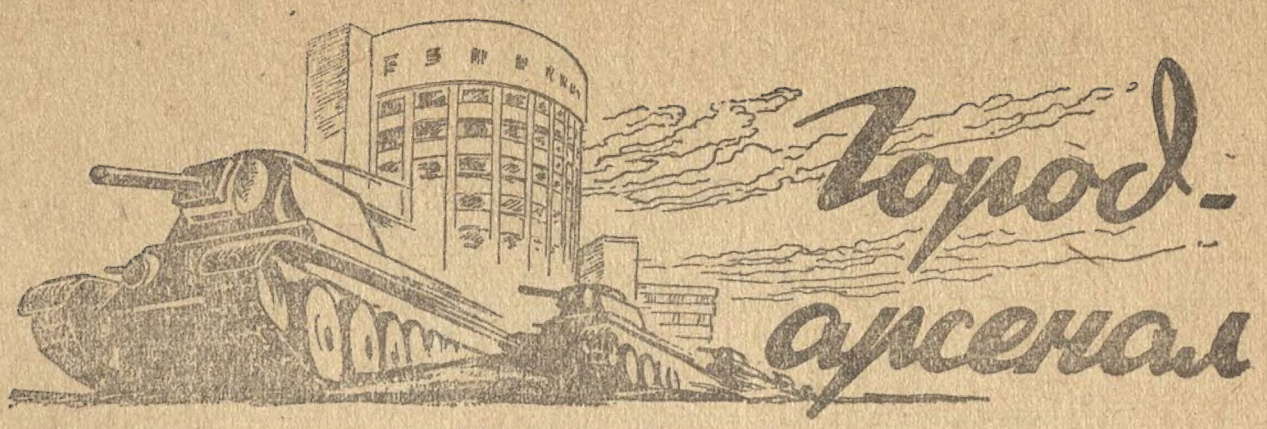
выпуск четвёртый

187927

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
г. Свердловск

ОГИЗ
СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1943

Отдел хранения
Гос. Публ. Библиотеки
им. В. Г. Белинского
г. Свердловск



К. Мурзиди

Свой горный край всё больше познавая,
Родной Свердловск я крепостью назвал.
Тут каждый камень — башня угловая
И каждый холмик — неприступный вал.

Он устремлён в далёкие просторы,
Давая взлёт прожекторным лучам,
Пуская танки, пробуя моторы,
Испытывая пушки по ночам.

И, как всегда, проснувшись утром рано,
Встречая дымный медленный рассвет,
Мы видим в небе облако тумана,
А под ногами — гусеничный след.

И мостовая блещет, леденея,
Вся в выбоинах старого торца.
Но как кому, а нам она роднее
Иной дороги, гладкой без конца.

И повернув от нашего порога,
Она летит к горам за горизонт —
Родная нам, та самая дорога,
Которой танки движутся на фронт.

И улыбаясь первым свердловчанам,
Танкист ведёт, привычную к огню,
Расцвеченную зимними лучами,
Подёрнутую инеем броню.

А после боя скажет на привале:
— Я буду помнить город-арсенал.
Мы в нём зимой однажды побывали,
И счастлив я, что город тот узнал!

Синяя комната

Елена Верейская

Рисунки В. Синони

Я засиделся у своего друга до поздней ночи; несмотря на то, что обещал маме вернуться домой пораньше. Когда я спохватился и взглянул на часы, было уже больше двенадцати. Виноват был, конечно, не я. Виновата была белая ночь. Попробуй, догадайся летом в Ленинграде, сколько времени: девять вечера или час ночи? Словом, я опоздал, не выполнил обещания. И, еле простившись с другом и ругая и себя и предательскую белую ночь, я стремглав выбежал на улицу и помчался по набережной Невы. У пристани против университета стоял пароходик — речной трамвай. Когда я поровнялся со спуском к воде, пароход дал гудок. Я в несколько прыжков очутился на пристани. Сторожиха загородила мне дорогу.

— Поздно!— крикнула она,— движение давно кончилось, и касса закрыта. Пароход идёт на ночлег...

— Ну, и довезёт нас!— раздался за мной весёлый голос, и какой-то человек одной рукой слегка подтолкнул меня за локоть, а другой вежливо, но решительно отстранил сторожиху. Она что-то кричала; но мы уже прыгали на низкий борт отваливавшего парохода. Рулевой взглянул на нас и хотел было рассердиться, но раздумал, подмигнул нам и рассмеялся. А мы посмотрели друг на друга — и тоже рассмеялись.

— Здорово!— сказал мой спутник,— вот уж в буквальном смысле «подвезло».

Тут только я заметил, что вслед за нами вскочил ещё один пассажир и сразу ушёл в дверку, ведущую в закрытую кормовую часть пароходика. «Вот чудак! — подумал я, — в такую погоду ехать в каюте!»

Мы остались вдвоём на открытой носовой части и сели друг против друга. Мой спутник молча глядел вперёд. Я рассматривал его. Очень уж мне понравилось его лицо! Особенно глаза: весёлые, живые, яркосерые. Сейчас они были устремлены вперёд, словно искали чего-то за широким пролётом моста, под

который стремительно нёсся наш пароходик. «Кто он такой? — думал я. — И сколько ему лет? На вид лет тридцать, а глаза озорные, как у мальчишки».

Пароход скользнул под мост, на несколько мгновений стало темнее,— и мы вынеслись на самое широкое место Невы, где она разрезается надвое стрелкой Васильевского острова. Мой спутник быстро перевёл глаза на Зимний дворец, потом на меня. Он вдруг улыбнулся и высоко поднял брови.

— Куда ты смотришь?— спросил он.

— На вас,— сказал я.

— Вижу. И удивляюсь.

— Почему?

— Что за охота рассматривать заурядное человечье лицо, когда кругом — вот такое?— и он сделал широкий жест рукой.

— Всё это,— сказал я, повторяя его жест,— я вижу каждый день, а вас...

— Рассказывай!— Он как будто даже рассердился.— Я тоже вижу всё это каждый день, но глаза мои не могут насытиться, и сердце не может нарадоваться. Я живу всю жизнь в Ленинграде, — и не перестаю изумляться его почти невероятной красоте. Великий Пётр создал чудесный город. Великий Пушкин воспел его, и великий Ленин нашёл, как Архимед, в нём точку опоры, чтобы перевернуть весь мир. И красота этого города — тоже великая, гордая, а великое не может быть будничным, привычным. И раз ты равнодушно говоришь: «Я это вижу каждый день», — значит, ты Невы никогда не видел.

— Как это не видел? — возмутился я. — Во-первых, наше окно выходит на Неву. Во-вторых, я часами простаиваю с удочкой на набережной.

— Фу ты! — воскликнул он и даже ударил кулаком по борту.— Час от часу не легче. На твоё «во-первых» я отвечу, что иметь что-либо перед глазами — не значит видеть его. А на «во-вторых»... ты меня прости, но я очень люблю загадку: «Что это такое?, — на одном конце червяк, а на другом — дурак».

— Почему же «дурак»? — обиделся я.

— Стоять на набережной и смотреть не на «Невы державное теченье; береговой её гранит»... а на какой-то дурацкий поплавок... тьфу!

Я не нашёлся что ответить.

— Ты смотри! — горячо заговорил он.— Умей же смотреть... Ведь один только Пушкин нашёл подходящие слова, чтобы описать это. Я и не берусь. Да и зачем слова? Есть же у тебя глаза. Ну, раскрой их по-настоящему и увидь! Понимаешь, увидь! Ну!

И он снова сделал широкий и повелительный жест рукой. Я послушно отвёл глаза от его взволнованного лица и окинул взглядом переливающуюся шелковистую гладь воды, и Петропавловскую крепость с пустынным в этот ночной час пляжем, и Зимний дворец, и воздушные арки Кировского моста, под которым нёсся наш пароход. И — удивительное дело! — ведь всё это было знакомо до последней ступеньки на каждом гранитном спуске, до каждого пролёта моста,— а между тем я всё это точно видел заново, точно впервые до сознания моего дошла эта действительно невероятная, величавая красота Ленинграда. Я снова взглянул на своего странного спутника. Теперь он смотрел на меня.

— Скажите, кто вы? — вырвалось у меня.

— Ага! Увидел;

— Увидел!.. Кто вы такой?

— Ты читал «Белые ночи» Достоевского?

— Ну, конечно.

— Помнишь, там он говорит о «странных людях-мечтателях». Так вот, каждый год в белые ночи я становлюсь таким мечтателем.

— Но это же... не профессия,— пробормотал я.

— А тебе обязательно нужно знать профессию? Имя? отчество? Фамилию?— засмеялся он.

— Конечно! Я вот — Геня Дольский, школьник, перешёл в девятый класс. И хочу стать писателем,— одним духом выпалил я и сразу смутился под его пристальным взглядом.

— Писателем? — он поднял брови.— Писатель должен уметь всё видеть без чужой указки.

— Мне кажется,— совсем растерянно заговорил я,— я умею видеть... Только я больше насчёт людей... Мне кажется, я умею понимать человека по его лицу...

Он усмехнулся. Я был задет за живое.

— Нет, вы не смейтесь! Я редко ошибался. Вот мы как раз сегодня долго спорили об этом с моим товарищем Мишкой... Он говорит; что это невозможно; что я — фантазёр. А вот моя мама,— она врач-психиатр — тоже редко ошибается в людях... Умеет их понять с первого взгляда. Вот... я вас вижу в первый раз, а уже знаю: вы очень хороший...

Он рассмеялся весело и задорно.

— Нет, нет, вы не смейтесь! — горячо повторил я.— Я уверен, что я прав! Вот, например... Есть у нас один товарищ, вернее, одноклассник — Стёпка Соколов. Ему на вид лет двадцать, он уверяет, что семнадцать... ну, да это его дело. Пошляк и шалопай... циник... И я вот говорю: он неисправим, он таким и всю жизнь будет. А вот Мишка уверяет: на Стёпку будто бы можно влиять; сделать из него человека. Ничего из него не сделаешь!

— А мне вот кажется, — лукаво заговорил мой спутник,— у тебя просто есть зуб против этого Стёпки.

Я помолчал.

— Зуб есть, это верно. Отец Стёпки работает бухгалтером в маминой больнице. И вот мы с ними недавно обменялись комнатами. У нас была чудесная комната, тоже с окнами на Неву и, главное, совсем изолированная, с отдельным ходом. В ней были очень красивые синие обои... Мама говорила: «совсем как Нева в жаркий день». Мы так и называли: наша синяя комната. Но в финскую войну погиб папа... Комната для нас двоих стала велика, мы и обменялись. И я рад был, что со знакомыми: вот, — думаю,— смогу бывать в своей синей комнате. А Стёпка меня в неё не пускает.

— Как не пускает?

— А так. Под всякими предлогами. То отец спит; то к отцу по делу пришли. А на-днях Иван Степанович — отец Стёпки — на месяц на курорт уехал. А на меня уж азарт напал: «А, мол, ты не пускаешь, а я непременно хочу посмотреть, как у вас наша синяя комната выглядит». Ну вот, вчера подхожу к двери,— слышу там голоса. Тихие. Я постучал. Никто дверь не открывает, и голоса умолкли. Я громче стучать. Ни звука! Я кричу: «Стёпка! Я же знаю, что ты дома!» Никакого ответа.

Мой спутник расхохотался.

— Чудак ты! А может быть, у него гости были, и он не хотел...

— Нет,— перебил я, — он был один. А сегодня Стёпка клялся и божился, что его дома не было. Да нет, вообще он мерзавец! Он вечно девочкам пошлости говорит. Сегодня я ему категорически сказал: если он и его компания не перестанут приставать к девочкам и вообще так вести себя, мы им объявим беспощадную войну! А Стёпка зубы скалит: «Что ж,— говорит,— война, так война!»

Скрипнула дверка, ведущая в каюту. Я оглянулся. Третий пассажир высунул голову и что-то говорил рулевому, указывая вперёд рукой. Рулевой кивнул головой и крикнул нам:

— Эй, зайцы. А вам куда нужно?

— Мне на набережную Жореса,— в один голос ответили мы.

— А! Совсем земляки,— сказал мой спутник.

— Ну и ладно! — крикнул рулевой,— тогда я к Петровской набережной и приставать не стану.

Третий пассажир снова исчез за дверкой.

Мы молча смотрели на величественную и в то же время лёгкую решётку Летнего сада и пышную зелень вековых лип за ней. И опять я как-то заново был поражён этой давно знакомой картиной.

Замедляя ход, мы приближались к пристани. Снова скрипнула дверка каюты. Незнакомец быстро вышел из неё. Я оглянулся,— и наши глаза на одно мгновение встретились. И мне вдруг стало жутко от его взгляда. Он сразу отвернулся и, прыгая через две ступеньки, встал на борт. Рулевой ловко подходил вплотную к пристани, не останавливая парохода. Пассажир выскочил на ходу и, не оглядываясь, быстро пошёл к сходням. За ним выскочили на ходу и мы

— Спасибо! — весело крикнул мой спутник и помахал рулевому кепкой. Рулевой кивнул головой, и пароход понёсся дальше.

Мы молча поднялись на набережную.

— Тебе куда? Мне направо,— сказал мой спутник.

— И мне направо.

Набережная была пустынна, приехавший с нами пассажир быстро удалялся впереди нас. На повороте он вдруг оглянулся на нас и свернул в боковую улицу.

— Вы видели его лицо? — спросил я своего спутника.

— Нет. А что?

— Вот, вы смеётесь, а хоть убейте меня: это — страшный человек.

— Страшный? Чем же? — Мой спутник казался искренне заинтересованным, и это придало мне бодрости.

— У него глаза такие... жуткие глаза. Такие глаза, наверное, у убийц, у злодеев. Я прямо-таки уверен: этот человек — преступник! Знаете, я в первый раз в жизни видел такой взгляд. И вы не смейтесь,— я это очень серьёзно говорю!

— Я и не смеюсь,— ответил мой спутник,— но только... (он остановился и опёрся руками о гранит)... чорт с ними с злодеями. Не хочется говорить о них в такую ночь. В такую ночь хочется думать лишь о хорошем... о счастье... о прекрасном будущем человечества... а может быть и ни о чём не думать, а отдыхать и вбирать, вбирать глазами, душой, всем существом своим эти волшебства белой ночи... Я в такие минуты забываю и кто я, и как меня зовут, всё это кажется не нужным, шелухой. А вот чутьё человека к человеку повышается до предела. Ты понимаешь меня? Вот встретились мы с тобой — и как-то сразу почувствовали друг друга. Встреться мы в осеннее ненастье или зимой, и про-

или бы друг мимо друга, не заметив. Это всё — белая ночь ворожит... Эх!.. Хорошо!

Он вдруг закинул руки за голову и потянулся всем телом.

— Ты спешишь? Тебя дома ждут? — спросил он вдруг.

— Откуда вы знаете? — удивился я.

— Я тоже немного вижу людей по лицу,— засмеялся он.— А что ты фантазёр,— это хорошо. Я и сам фантазёр, и Ленин любил фантазёров. Ну, ступай. Кстати, я уж почти дома. Вот мой дом.

— Как?! — воскликнул я.— Да это же и есть наш бывший дом, где синяя комната. Вы там живёте?

— Всего несколько дней. Я тоже обменялся. Ну, пошли.

— А я живу дальше — через два дома... А можно мне к вам притти? — спросил я неожиданно для самого себя и страшно смутился.

— Ну, конечно,— ответил он таким тоном, точно это само собой разумелось.— Квартира два в первом этаже.

Мы подходили к его дому.

— Вот видите,— сказал я,— в третьем этаже два окна открыты. Там Стёпка и живёт в нашей комнате... А что, если...— я подмигнул ему, поднял голову и громко крикнул:

— Стёпка! а, Стёпка!

Стёпка появился в окне так быстро, словно он только и ждал моего зова. Вид у него был почему-то испуганный. Увидя нас, он сначала помолчал, потом спросил:

— Чего тебе?

— Ты один?

— Ну, конечно. Отец уже уехал.

— Брось ко мне ключ от подъезда. Я хочу забежать к тебе.

— Выдумал! Ночь, спать пора. Я ложусь.

— Да я на минутку только!

— Иди домой спать,— буркнул Стёпка и исчез из окна.

— Видели? — спросил я своего спутника, с любопытством слушавшего наш разговор.

— Видел... но не спешу делать никаких выводов. Ну, в самом деле, иди, тебя ждут. Спокойной ночи, товарищ фантазёр! — и он с улыбкой протянул мне руку.

— Спокойной ночи... товарищ мечтатель! — ответил я, пожимая её, и мы оба рассмеялись.

Я побежал и около своего дома оглянулся. Он стоял у гранитного парапета и смотрел на Неву.

Мама спала, когда я тихонько вошёл в нашу комнату. Я бесшумно разделся и лёг в постель. Но заснуть не мог,— я был взбудоражен до глубины души. И это новое знакомство, и предвкушение дружбы с человеком (но кто же он?!), который с первого взгляда очаровал меня, и то, что я впервые по-настоящему почувствовал всю красоту и всё величие родного города,— всё это наполняло меня таким ликованием, что захватывало дух.

Я заснул лишь утром и проспал часов до двенадцати. Когда я раскрыл глаза, мама стояла надо мной и смеялась.

— Ну, дрыхалка, выспался? Когда вчера вернулся? Я и не слыхала, ждала тебя, ждала, да и заснула.

Она была такая свежая, весёлая, а за окном сиял такой яркий солнечный день, и Нева искрилась и была такая синяя-синяя. Мне вспомнился вчерашний вечер... Я чуть не запрыгал, как маленький, от того же ликования, которое не давало спать ночью.

— Мамочка! Я опоздал вчера, прости! Но, мама, как интересно жить на свете!

Давно у нас не было такого весёлого воскресного завтрака. Я подробнейшим образом рассказал маме события прошлой ночи. Потом мама делилась со мной впечатлениями минувшей недели,— ведь в будни мы почти не виделись: она работала с утра до ночи. Потом мы вместе стали мечтать о том, что осталось чуть больше недели до маминого отпуска и отъезда на дачу.

Я сказал:

— Ну, пусть «на одном конце червяк, на другом дурак». Я буду всё лето удить! И сейчас пойду тоже...

— Смотри же, чтоб сегодня уха была к обеду! — сказала мама, смеясь. — Уж который день ты мне её обещаешь. А что-то я её никак не отведаю.

Было жарко, солнце жгло мне спину. Яркокрасный поплавок мерно покачивался на крупной невской зыби. Чудесное бамбуковое удилище — недавний подарок мамы — блестело на солнце, как золотое. Но я поминутно отрывал глаза и от того и от другого, чтобы окинуть взглядом Неву, набережную, мосты. Да, я не умел видеть всё это раньше, не умел ценить... это казалось привычным. И вдруг мне сегодня ночью открылось, что привыкнуть к этому невозможно...

Поплавок дрогнул, заплясал и снова затих. «Червяк... дурак...» — прошептал я, но сердце, как всегда в такие минуты, замерло. Теперь я не спускал глаз с поплавка. Он непрерывно слегка вздрагивал, и по гладкой воде бежали от него лёгкие круги. «Да ну же, ну же, клюй как следует»,— шептал я нетерпеливо.

По тротуару послышались шаги, и кто-то остановился рядом со мной.

— Здравствуй!

Я узнал голос Стёпки Соколова.

— Здравствуй,— сухо ответил я, не отрывая глаз от поплавка.

— Значит — война! — произнёс он серьёзно.

Я пожал плечами.

— Ну, что ж: ведь мы вас в два счёта разобьём,— сказал я.

В горле Стёпки что-то булькнуло, точно он подавился слюной. Я взглянул на него. Стёпка смотрел на меня не то с удивлением, не то с испугом. И как-то растерянно молчал.

— Кто это «вы», и кто это «мы»? — произнёс он, наконец, каким-то сдавленным голосом,— все мы советские граждане.

— Мы — да! Мы — советские граждане,— крикнул я,— а вы — поплякившалопаи, такие стране не нужны...

Стёпка усмехнулся.

— Ах, ты вот о чём! Ну, по-моему, об этом говорить сейчас не время.

На этот раз удивился я:

— А ты о чём?

— Да ты что: с неба свалился? Ведь война началась! Настоящая война!

— Что ты брешешь? С кем!?

— Да с немцами же! Ты что: радио не слыхал? — и он взволнованно начал мне рассказывать о выступлении Молотова.

Должно быть очень крупная рыба попалась на мой крючок, я не заметил, как удилище выскользнуло из моей руки, и сейчас бессмысленно следил глазами, как оно стремительно, рывками, плыло против течения.

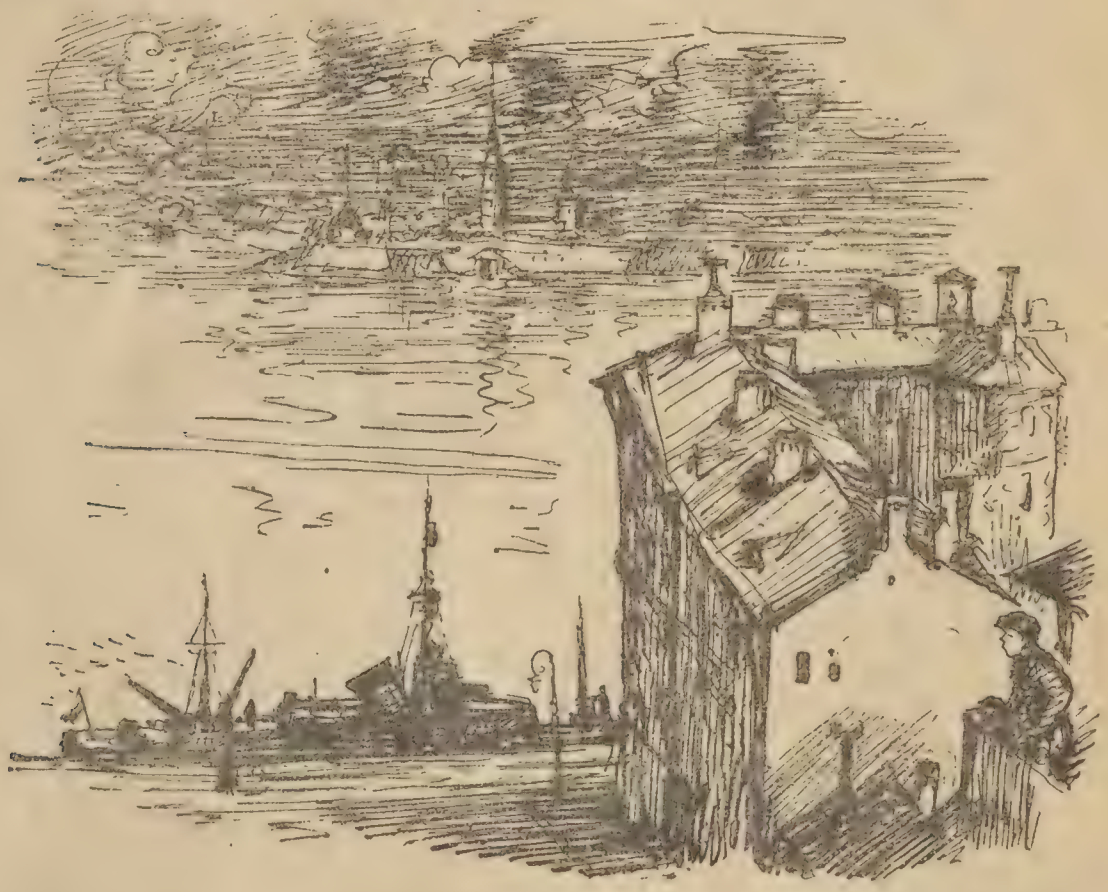
Стёпка продолжал что-то говорить, горячо и взволнованно, но я уже не слышал его. Мозг жгла одна мысль: неужели правда война?

— Геня! Геник!

Мама звала меня из раскрытого окна. Лицо её было очень бледно, глаза горели.

— Геник; ты слышал уже?! Иди скорее домой!

Не простившись со Стёпкой, я бросился в подъезд.



Маму мобилизовали в один из первых дней войны и отправили на фронт

Когда мы прощались, она не плакала, не читала мне никаких наставлений. Она была только очень бледна, взяла в руки мою голову, долго смотрела в глаза и сказала:

— Ну, ты сам знаешь, как теперь нужно вести себя. Ты будешь достоин папы.

— Знаю, мама. Буду.

Я проводил её до призывного пункта. Потом долго стоял и смотрел на закрывшуюся за ней дверь. Должно быть, у меня были такие же глаза, как тогда, когда я смотрел на своё бамбуковое удилище, уплывавшее вверх по Неве...

Война... Все пережили эти грозные первые месяцы войны,— к чему их описывать. Я вступил в пожарное звено нашего дома. Город был затемнён, но сначала были ещё белые ночи. Над городом поднимались вечером сотни серебряных аэростатов. «Наши милые сторожа» — называли их ленинградцы. Сначала были тревоги без налётов. Потом начались бомбёжки. Как-то ночью я вместе с другими ребятами потушил несколько зажигательных бомб, упавших на нашу крышу. Иногда; дежуря ночью на крыше, мы во время тревог

видели то там, то тут взлетавшие снизу вверх белые ракеты. Это враг; скрывавшийся где-то тут, среди нас, сигнализировал своим лётчикам, куда бросать бомбы. И бомбы падали на госпитали, на детские больницы, на заводы. А у нас сжимались кулаки, и в горле застревал ком: поймать бы, поймать этих гадов, стереть их с лица земли, уничтожить без остатка... Их и вылавливали, но ракеты продолжали взвиваться.

Как-то, проходя по Летнему саду, я вдруг увидел Мечтателя (я иначе не называл его в мыслях). Он сразу узнал меня и, широко улыбаясь, пошёл ко мне с протянутой рукой.

— Наконец-то! Наконец я встретился с вами! — говорил я, крепко сжимая его руку.

— Что ж ты не заходил? — спросил он.

— Заходил. Много раз. Но ведь вы так и не сказали мне, ни кто вы, ни как вас зовут. Вот я подойду к вашей двери, а позвонить не решаюсь. Ну, как я спрошу? Дома ли Мечтатель?

Он засмеялся.

— Верно! В ту удивительную ночь... последнюю нашу спокойную ночь,— прибавил он серьёзно,— как-то не подумалось об этом. А ты заходи. Зовут меня Сергей Алексеевич. Впрочем, меня трудно сейчас дома застать. Давай, сядем, отдохнём, поговорим. У меня есть ещё минут десять.

Мы сели на скамью. Я смотрел на него — и узнавал и не узнавал его. То же хорошее, открытое лицо, те же яркие серые глаза, которым веришь безоговорочно, но не было в них ни мальчишеского задора, ни безудержной восхищённости. Даже цвет их как будто изменился — стал совсем стальным. И были они теперь сосредоточенными, решительными.

— Ну, расскажи, как теперь живёшь, что делаешь?

Я принялся рассказывать всё о себе. Как я был рад этой встрече!

— А рыбу удишь?— спросил он, улыбаясь. Я рассказал ему о своей последней рыбной ловле, о Стёпке и уплывшем удилище.

— Ну, а Стёпка как теперь?

— Знаете, со Стёпкой у меня получился конфуз... видимо, Минка был прав, а я ошибался. Стёпки не узнать. Таким патриотом стал! Только послушать как говорит! А когда я его тогда не понял и сказал, «мы вас разобьём»,— он даже побледнел от обиды, что я его от нас отделяю.

— Это хорошо. Ну, а в синюю комнату впускает?

— Я и сам не иду. Не до того. Да и некогда.

— А «страшного человека» не встречал?

— Нет, с тех пор не видел.

— Значит, ты теперь один живёшь? Заходи, слышишь?

— Непременно приду, товарищ Мечтатель, можно мне вас так называть, хоть вы и просто Сергей Алексеевич? Я мысленно всегда вас так зову.

Он кивнул головой.

— Зови. Хотя сейчас мне не до мечтаний... Ну, мне пора.

Мы вышли на набережную, он на мгновение остановился и взглянул на Неву.

— А город наш в эти грозные дни стал, кажется, ещё прекраснее, ещё горделивее,— сказал он тихо.

Я проводил его до трамвая,

— Мама пишет? — спросил он, когда трамвай уже подошёл.

— Часто! — ответил я.

— Она у тебя, верно, хорошая! — Он вскочил на подножку.
— Удивительная! — крикнул я ему вслед.

Но побывать у него мне всё не удавалось. В какое бы время я ни позвонил в его квартиру, ответ был неизменный: Сергей Алексеевич на работе.

На какой работе? Этого я так и не знал. А спросить у лиц, открывавших мне дверь, я стеснялся.

Как-то осенью в наш почтовый ящик забросили чужое письмо. На конверте чётко, старательным почерком был выведен наш адрес, и дальше «Иван Степанович Соколов». Так звали отца Стёпки, очевидно, ему и предназначалось письмо.

«Какой-нибудь рассеянный чудак пишет»,— подумал я, невольно усмехнувшись над тем, как написан адрес, и, засунув письмо в карман, вышел из дому, чтобы отдать его Стёпке.

По небу неслись редкие облака. По встревоженной Неве бежали белые барашки. У своего подъезда я неожиданно встретил Мечтателя.

— А! — он взял меня за руку и потянул за собой,— вот и отлично. Проводи-ка меня опять до трамвая.

Я ужасно обрадовался.

Я стал рассказывать ему все свои новости. Упомянул мимоходом, куда я иду и как забавно написан адрес на конверте. В общем, болтал всякие пустяки.

Мечтатель вдруг остановился.

— Покажи-ка мне письмо!

Я подал ему. Он прислонился боком к гранитному парапету и стал внимательно читать адрес. Лицо его было серьёзно и строго. Таким я его ещё ни разу не видал. Потом он посмотрел мне прямо в глаза и сказал тоном, не допускающим возражений:

— Письмо останется у меня. К Стёпке ты не пойдёшь, и о письме ему — ни звука. Понял? — и он положил письмо в карман.

Я был ошеломлён. Мне с детства мама внушала, что чужое письмо — святыня, что прочесть чужое письмо — это то же, что украсть.

— Как же, — растерянно пробормотал я,— это же чужое письмо. Какое же право вы... я...

Я не договорил. Он увидел моё смятение и улыбнулся. Потом взял меня под руку и двинулся дальше. Я машинально пошёл с ним рядом и почувствовал, что начинаю дрожать.

— Не волнуйся так, — сказал он, ласково прижимая к себе мою руку.— Ты молчать умеешь? — прибавил он тихо.

Я кивнул головой.

— Я знаю: умеешь,— уверенно сказал он.— Так вот, наивный мальчик, ты говоришь — письмо чужое. В том-то и дело, что слишком чужое. Неужели ты не понимаешь, что русский человек,

как бы он ни был рассеян, никогда не напишет адресата в именительном падеже, а напишет в дательном: «Ивану Степановичу Соколову».

Я разинул рот.

— Вы думаете...— начал было я.

— Думаю,— перебил он.— Кроме того,— почерк. В почерке есть что-то неуловимое, что выдаёт иностранца. У русского не бывает, как бы каллиграфически он ни писал, такого чересчур аккуратного почерка...

Я пытливо посмотрел на него.

— Кто же вы! Кто? — крикнул я.

— Патриот, как и ты,— сказал он серьёзно.— Если окажется, что я ошибся... ну, ты тогда пойдёшь в свою синюю комнату и снесёшь письмо.

Мы как раз подходили к его дому. И в этот самый момент сначала низко, потом всё выше и выше, взвыла сирена и, вторя ей, зловеще, предостерегающе загудели гудки по всему городу. Прохожие бросились в подъезды и подворотни.

— Ну вот, опять тревога,— с досадой сказал он.— Застряли! Что ж, идём ко мне. У меня нижний этаж, вроде бомбоубежища.

Я было обрадовался, но тотчас спохватился.

— Не могу! Я же должен быть на посту!

— Верно. Но погоди минутку. Нам надо условиться как... Слышишь? Уже летит...

Где-то за облаками нарастал гул самолёта.

— Идите скорей! — крикнул я,— и мне надо...

Я не договорил. Страшный грохот оглушил меня, и что-то с силой толкнуло меня прямо о парапет. Помню, как, падая, я увидел перед собой тёмносерую, взволнованную воду Невы. Дальше ничего не помню.

Но очнулся я скоро. Открыл глаза. Я лежал почти лицом в гранит. Страшно болело всё тело, в ушах стоял оглушительный звон. Преодолевая боль, я поднялся на колени. Первое, что я увидел, это — распростёртого рядом со мной на тротуаре Мечтателя. Он лежал лицом вверх. Широко раскрытые, неподвижные глаза смотрели в облачное небо. Изо рта текла струйка крови.

— Мечтатель! — закричал я в отчаянии, хватая руками его голову. — Мечтатель! Вы же живы! Живы!

Нет, он не был жив. Я это понял сразу. И, подняв кулаки, я исступлённо закричал куда-то вверх:

— Проклятые! Проклятые! Проклятые!

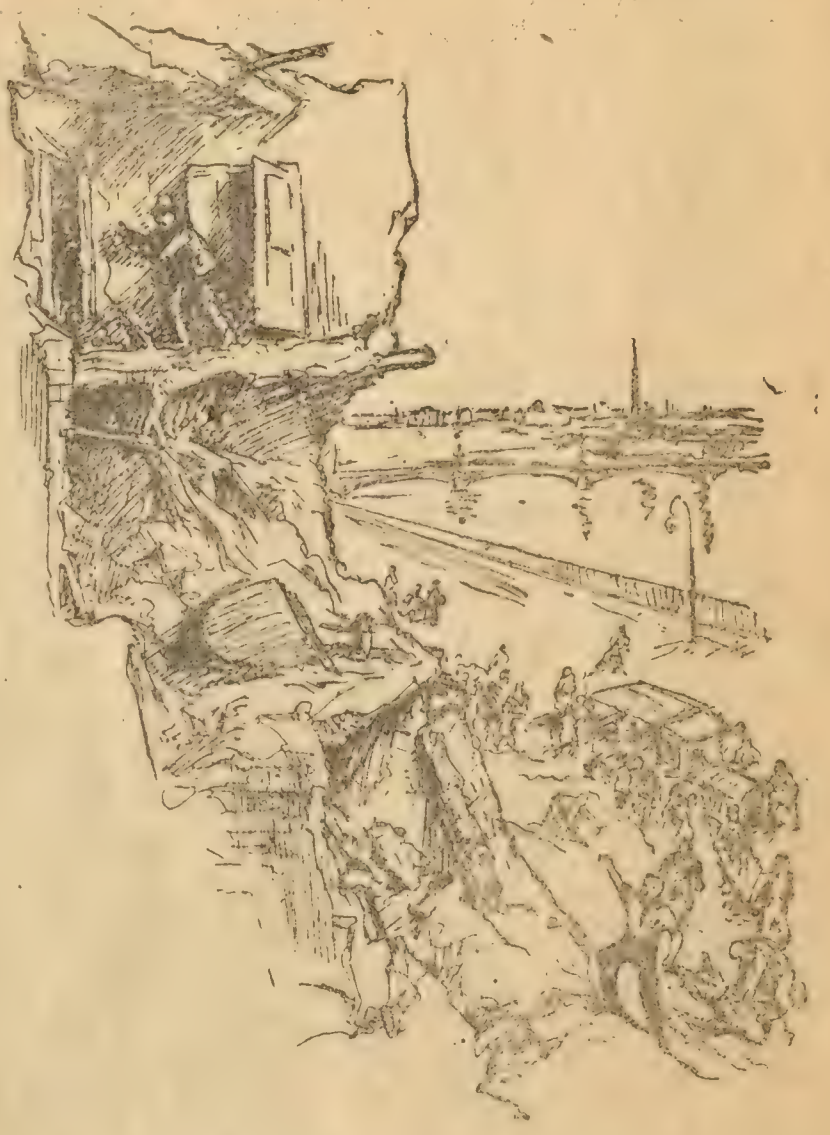
Кругом уже суетились люди.

— В мост метил гад,— донёсся до меня чей-то голос.

Мчались кареты скорой помощи. Едва ворочая головой, я оглянулся и обмер.

Бывший наш дом стоял обнажённым. Вернее, обнажена была вся внутренность дома. Мостовая была завалена грудами кирпича, обломками дверей, рам, мебели. Сквозь туман ещё не совсем осевшей пыли я увидел в каждом этаже ровные ряды пёстрых комнат. В некоторых уцелел пол, и аккуратно стояла мебель. Запомнилось

мне огромное, совершенно целое зеркало на боковой стене. В одной из комнат второго этажа торчал из потолка хвост рояля, а широкая часть застряла в третьем этаже. Из боков, повисшего над бездной, письменного стола в четвёртом этаже медленно, одна за другой, сыпались бумаги. Из разрушенной крыши торчали железные балки.



А вот и наша синяя комната! И тёмное пятно на стене, где висел у нас мамин портрет, и наша люстра, проданная Соколовым... А пол весь провалился, осталась лишь узкая кромка вдоль трёх уцелевших стен. У левой стены — огромный пузатый шкаф. Странно, как он держится: его передние ножки висят в воздухе. У средней стены — ломберный стол. Его передние ножки стоят на самом краешке кромки. На столе какие-то ящики, какие-то непонятные мне предметы. Рядом дверь в прихожую. А перед дверью — спиной к улице — стоит Стёпка и тщетно старается открыть её. Дверную раму, видимо, перекосило, и дверь не поддаётся. Я стою на коленях над телом Мечтателя и бессознательно слежу за стараниями Стёпки. Вот дверь чуть-чуть подалась. Ещё немножечко, ещё... Уже почти можно просунуться в неё. Тогда Стёпка поворачивает голову и тихо что-то кому-то говорит. И тотчас же из-за пузатого шкафа, держась за стенку и стараясь не глядеть вниз, по узкой кромке пола медленно выступает человек. Он осторожно доползает до угла, поворачивает... теперь я вижу его профиль. У меня замирает сердце... Неужели?.. Вот он дошёл до ломберного стола и остановился. Стол обойти нельзя: пола нет. Стёпка жестом показывает ему, чтоб он пролез под столом. Человек беспомощно оглядывается. Я вижу его лицо... Это он!.. Он!.. человек... со страшным взглядом...

Я больше не чувствую боли. Какая-то сила поднимает меня на ноги.

— Стой! — кричу я не своим голосом.— Стой!

Человек вздрагивает, хватается за край стола. Стёпка всем телом налегает на дверь. Дверь ещё немного подаётся, и Стёпка быстро выскальзывает в неё.

— Стой! — кричу я.— Стой!

Ко мне подбегает милиционер. Я хватаю его за руку.

— Не выпускай их,— кричу я,— это — враги! Это — шпионы!.. Может быть, ракетчи...

Силы оставляют меня. Словно откуда-то издали слышу я крик милиционера:

— Стой! Стрелять буду!

И, снова теряя сознание, я падаю на гранит.

Я очнулся в госпитале через несколько часов. Оказывается, я был легко контужен взрывной волной. Но та же волна убила Мечтателя.

Наши домовые ребята, навещавшие меня, рассказали мне, что в синей комнате оказалась целая мастерская ракет. Стёпка чуть не ускользнул, но его успели поймать. Того—другого — взять было легко: ему некуда было уйти.

Через несколько дней, когда я немножко оправился, ко мне в палату пришёл следователь. Я рассказал ему всё, что знал о Стёпке и его отце. О незнакомце с жутким взглядом я мог рассказать только то, что он был мне страшен.

Утомлённый долгой речью, я замолчал. Молчал и следователь, давая мне отдохнуть.

— Да! — вспомнил я вдруг,— а письмо с именительным падежом,— нашли?

— Нашли и письмо и его автора. Оно нам многое открыло, хоть и было зашифровано. Гм! именительный падеж!.. А этот самый Иван Степанович — такой же «Иван Степанович», как мы с вами «Фридрихи Францевичи». И ни на какой курорт он не уезжал — его нашли в Ленинграде.

— Как?! — удивился я.— А Стёпка?

— Стёпка тоже вовсе не Стёпка и даже не сын этого самого Ивана Степановича... Письмо нашли в кармане у...— продолжал следователь.

— Скажите: кто он был?— воскликнул я.

— Покойный Сергей Алексеевич Белявский? Один из самых талантливых наших молодых следователей. Это тяжёлая утрата для нас.

— И для меня?— прошептал я, закрывая глаза.

Я вернулся домой в туманный день поздней осени. Был первый час дня, но в комнате было почти темно: окно было сплошь забито фанерами. Уцелело лишь одно стекло в верхней фрамуге окна, остальные вылетели в тот роковой день от взрывной волны. Соседи вымыли комнату к моему возвращению. Осколки стёкол были убраны. И всё же было пусто и неуютно. На письменном столе лежало письмо. От мамы? Нет, почерк чужой. У меня ёкнуло сердце. Я взял письмо, стал на подоконник, чтобы быть ближе к свету и распечатал его.

Сначала я не понял... Не хотел, не смел понять... Перечёл ещё раз. И вдавился лбом в холодную фанерку и заплакал горько, как не плакал с самого детства.

— Мама! Милая, милая, бедная моя мама!

Комиссар маминого полка писал мне, что мамин госпиталь попал в окружение, что маму в числе других фашисты пытали и мучили, надеясь вытянуть у неё сведения, а она молчала и вела себя, как героиня. Подоспевшие наши части освободили госпиталь, и сейчас мама лежит в лазарете. Положение её тяжёлое, она сильно изранена, и сама написать ещё не может. Но врачи ручаются за её жизнь и обещают, хоть и медленно, но вполне восстановить её здоровье. Письмо кончалось так: «Вы можете гордиться своей матерью. Она представлена к высокой награде».

Мама где-то далеко, израненная... нет Мечтателя... Чувство страшного одиночества заползало в душу. Я застонал, до боли вцепился руками в края рамы. За окном лежала Нева, бурная, осенняя, почти чёрная, и по ней тревожно бежали белые гребешки.

Мне вдруг так ярко вспомнилась летняя ночь, пароходик, бледное лицо с горящими глазами и взволнованные слова о «почти невероятных» красоте и величии нашего родного города.

И они хотят разрушить его!

Всю душу захлестнул мне вдруг такой бешеный гнев, такая жгучая ненависть, что мне казалось — я сейчас задохнусь.

Одиночество? Разве может быть одиночество, когда миллионы чувствуют то же, что я, и каждый поймёт меня с полуслова?

Я вышел из дома. Я больше не плакал. Решение было принято.

Мама моя! Моя родная, да, я буду достоин и папы и тебя.

Мне шестнадцать лет, но я высок, крепок, силён. Неужели меня не возьмут добровольцем? Возьмут!

И я пойду истреблять их. Пойду мстить, мстить, мстить!

За Родину, за маму, за моего чудесного друга Мечтателя, за мой чудесный город Ленинград!

187927

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
3 Боевые ребята
г. Свердловск

Отдел хранения
Гос. Публ. Библиотеки
им. [illegible]
г. Свердловск

ПОЧТА ПРИШЛА

Рассказ

Перевод с украинского

Оксана Иваненко

Рисунки В. Цигаля

Вам по порядку всё рассказать? Ничего, я уже отопла немножко и могу. Только сумею ли? Обо всём хочу сказать, пока вы здесь. А может быть, вы отца моего увидите и ему всё передадите?

Когда уходил отец мой на фронт, он поцеловал меня и сказал:

— Ну, дочечка, не иначе, как придётся тебе мою работу делать.

А он, знаете, был почтальоном, и целых четыре колхоза его были, кроме нашего, самого большого, имени Тараса Шевченко, «Дружба», «Сталинское восходы», «Ленинский путь». Ну и часто, бывало, я ему помогаю, когда и вдвоём ходим. Если куда срочное или телеграмма, так я ноги на плечи и быстрее машины доставлю. Меня поэтому и знали все и звали Килинкой почтарёной, и я уже наизусть помнила, кто «Правду», кто «Советскую Украину» выписывает или журнал какой.

А как ушёл отец с Красной Армией, начальник почты Михайло Петрович говорит:

— Никак нам, Килинка, без тебя не обойтись, один старый дед Трохим на почте остался. Пока в школе занятия не начались, помогай деду. Теперь в каждую хату письма с фронта будут.

И любили все, когда я прибегала. Понятно,— письмо ведь от сына или от мужа несу! Как увидят, так и обступят, а я ещё с улицы кричу:

— Тётя Палазя! Ваш четырёх немцев застрелил, а сам живой-здоровый, только сердится, что вы плачете.

Уже знала я, какая дивчина от какого хлопца ожидает, и каждой что-нибудь навыдумываю.

А как нет кому писем, так мне жаль, так жаль, хоть сядь да и плачь или сама пиши.

Я уже тогда говорю: — Вам, бабуся, завтра принесу. Знаете, ведь сама — война. Это не то, что дома, сел за стол и написал. Там может быть нашему Грицю вздохнуть некогда. Завтра уже вам обязательно принесу.

Ну, развеселю как-нибудь, и может, им хоть капельку легче станет.

А вот сами мы, я и мама, как уехал отец, писем не получали.

Иногда вздохнёт мама и скажет:

— Всем носишь, хоть бы домой принесла.

— Нам дед Трохим принесёт! — хочу я пошутить, но с мамой не выходит.

— Легче было бы, если бы ты и не возилась с этим, — молвит мама.

Тогда поцелую я её и говорю:

— Мамуся голубонька, мне ведь тато велел за него работать. Ты ведь знаешь, деду Трохиму каждую почту два дня обносить, а я за три-четыре часа всех обегаю и всем такая радость.

— Твоя правда, — грустно улыбнётся мама.

Если бы знали вы, как тяжело мне стало, когда немец пришёл и нечего было уже носить! Встречу я деда Трохима, а он только рукой махнёт, иди, мол, Килинка, не напоминай мне.

А раз не вытерпел и говорит:

— Если бы «Правдоньку» нашу увидел, и мои бы старые ноги быстрее аэроплана всем доставили.

Шмыгнул носом и чуть не заплакал.

Там, где почта наша была, там немецкие офицеры жили, штаб ихний, что ли. А наш Михайло Петрович исчез из села, наверно, партизанить пошёл. Да кто в селе остался? Одни женщины да дети, да такие старые, как дед Трохим.

В школе нашей новой, — а я уже так нашу новую школу любила, — там конюшню сделали и статуи пионера и пионерки разбили. Стояли перед школой алые пионер и пионерка и в трубы трубили. Когда школу открывали, праздник был на всё село, а сейчас там кони копытами полы разбили, ничего не осталось — ни от физического нашего кабинета, ни от уголка природы, ни от библиотеки.

Не могла я мимо школы проходить, как услышу, что лошади там ржут — на весь свет закричала б. Да что им школа!

Первые дни ходили они по хатам. У кого курицу увидят, у кого телёнка — «купить» кричат, и за курицу дали Кушнеренчихе три копейки, а за свинью десять. А Кушнеренчиха у нас гром-баба была, на весь район известная, она не стерпела, бросила им те копейки в глаза и закричала:

— Грабители вы!

Только мы и видели Кушнеренчиху с того дня.

Говорит, что повели её в овраг и там убили. Да ведь нам из села выходить не позволяли, как в тюрьме мы очутились, хотя и решёток не было. Зимой начали немцы проволокой село с востока обводить и канавы копать.

— Вот мы и за решёткой, — говорят люди.

И наших же колхозников гнали каждый день копать.

— Люди, люди добрые, — плачут женщины, — это же мы против наших родимых окапываемся, обводимся. Это же сами мы себе могилы роем.

А не пти нельзя.

Старостой они, немцы, поставили Нечипора Стельмаха. Его в прошлом году только с канала выпустили — бандит был, а теперь старостой. Он как хорь во всех хатах шныряет, во всех углах шарит, обо всём, душа подлая, немцам докладывает, и уже не одна бедная Кушнеренчиха лежала в овраге замученная.

А моя мама не выходила, и я с ней тоже не выходила, потому что таких, как я, и по тринадцать лет тоже на работу гнали.

Как-то Стельмах пристал к маме, она и говорит:

— Больна я сейчас, хвораю... Я уже потом отработаю, сейчас подняться не могу, а дочка около меня.

Не знаю уже почему, а улыбнулся Стельмах, даже страшно мне стало, и говорит:

— Ну, с тобой, соседка, счёты после. Не думай, что потом не отработаешь. Мы-то надолго, а красных за Урал прогнали.

Не знаем мы, что он надумал, только всё равно решили с мамой на немца ни минутки не работать.

— Пусть убьют — не пойду! — говорит мама.

И я говорю «мы не рабы». Вот вы улыбнулись, не смейтесь! Это первые слова, на первой страничке в наших букварях все школьники читали: «Булы паны, булы рабы, мы не рабы». Так мне это запало в душу в те дни, смотрю, как людей гонят, а в голову стучит: «Мы не рабы».

Дед Трохим тоже не ходил. Он на печь залез и оттуда целую зиму не слазил, а как зайдёт кто, то так начнёт охать и стонать, будто три дня до смерти осталось.

И вот раз, сплю я уже с мамой, как это стук-стук в окно.

— Мама, открывать? — спрашиваю.

— Килинка, это за нами пришли... Проклятый Стельмах уже донёс.

А там ещё стук-стук.

— Я хоть спрошу, кто там?

— Лежи, пусть двери ломают, сама смерти не открою.

А стук уже в дверь, да тихонечко так.

— Нет, думаю, это не немец и не Стельмах, те бы не стеснялись шум поднять.

Вскочила я с кровати, к дверям и ещё спросить не успела, кто там, как слышу шопот:

— Килинка! Почта пришла!

Я двери быстренько отворяю и вижу: стоит дед Трохим и смеётся. Я, наверно, впервые в ту зиму увидела, что кто-то из наших людей смеётся.

— Килинка, почта пришла! Беги, разноси, — говорит он опять.

— Дедушка, что вы, опомнитесь!

— Засвети каганец! — приказывает дед.

— Нельзя, что вы, дедушка, — испугалась мама.

— Ничего, в запечке засвети. Газеты наши пришли.

Я сама не своя. Каганец засветила, и правда, газета наша, украинская «За радянську Украину» передо мной лежала.

Разгладил её дед, шапку свою снял, перекрестился, поцеловал, а я к ней щекой прижалась, глаз оторвать не могу. Советская, наша, на украинском языке газета! А мама заплакала и только.

— Дедушка, как же она к вам попала? Где вы её нашли?

— Э, — говорит дед важно, — знали кому посылать! Кому же теперь как не мне передать. Знают, что я один из советской власти тут в селе остался. Сами знаете, почтальон на четыре колхоза! Лично прислали.

Мама улыбнулась, со мной переглянулась, а я чуть-чуть громко не рассмеялась, обняла деда и поцеловала в тёмную сморщенную щеку.

— А как же её теперь на все четыре колхоза разнести? — спрашиваю я. — Один наш, Шевченковский, сколько дворов.

— Ну, это ты уже, Килинка, организуй и мне свой план доложи, — важно запыхтел дед. — А раз нам почта пришла, надо её доставить.

— Да как же она пришла?

— То уже моё дело, — снова насупил брови дед, — потом расскажу.

Мы знали с мамой, что этот дед страшно упрямый, больше мы и не спрашивали, а газету я обещала доставить всем, кому надо.

Всю ночь сидела я на печке, и окна кожухами закрыла, и печь рядном завесила — не позволяли немцы огонь светить — и последнюю капельку подсолнечного, что на галушки берегли, засветили, и за каганцем от строчки до строчки прочитала её маме и деду Трохиму. Всю ночь читали мы и плакали. И уже знали, что врёт Стельмах, будто наших за Урал погнали. Близко они где-то совсем, освобождают наши сёла. И родной наш товарищ Сталин говорил нам на праздник Красной Армии, чтобы не покорялись мы, не работали на палачей своих, не выходили землю засевать, не давали бы им ничего. Он держал речь к бойцам Красной Армии и партизанам и партизанкам, ко всем советским гражданам — и к тем счастливым, что на воле, и к таким, как мы, что сейчас в неволе живут.

Закончили мы читать, а я всё говорю строчки стихов, что там напечатаны:

Николы, николы радянська Вкраина
Не будэ рабою нимецких катив.

И разве не мне отец мой, боец Красной Армии, велел быть почтальоном в наших колхозах: «Ленинский путь», «Дружба», «Сталинские всходы» и имени Тараса Шевченко, чтобы доставляла я всем советским людям этих колхозов нашу желанную почту, нашу свободную «За радянську Украину», хоть была она одна-единственная на всех, и на таком тоненьком листочке, такими маленькими буквами напечатана, и уже столькими горючими слезами политая.

Самые коротенькие дорожки знала я от хаты до хаты, от колхоза до колхоза, и никогда мои ноги так легко, так быстро меня не носили. Стукну я в двери, покажу, прочитаю и бегу дальше, люди и глазам своим не верят, целуют меня, Бежала я степью к «Сталинским всходам» и будто впервые заметила, что снег уже растаял и земля чёрная и первые нежные светлозелёные острые росточки вылезают из земли и раскрывают подснежники голубые глаза свои. Небо уже весеннее, совсем голубое, весеннее небо, а на вербе, что над рекой, на всех веточках пушистые баранчики выбежали.

Вверху гуси гельготали — домой возвращались. Остановилась я посередь степи.

— Гуси-гуси-гусеньки, — говорю им мысленно, — вы уже домой возвращаетесь! Уже весну на крыльях своих несёте, подождите ещё немного! Не летите! Пусть не будет весны, пока врагов не прогоним.

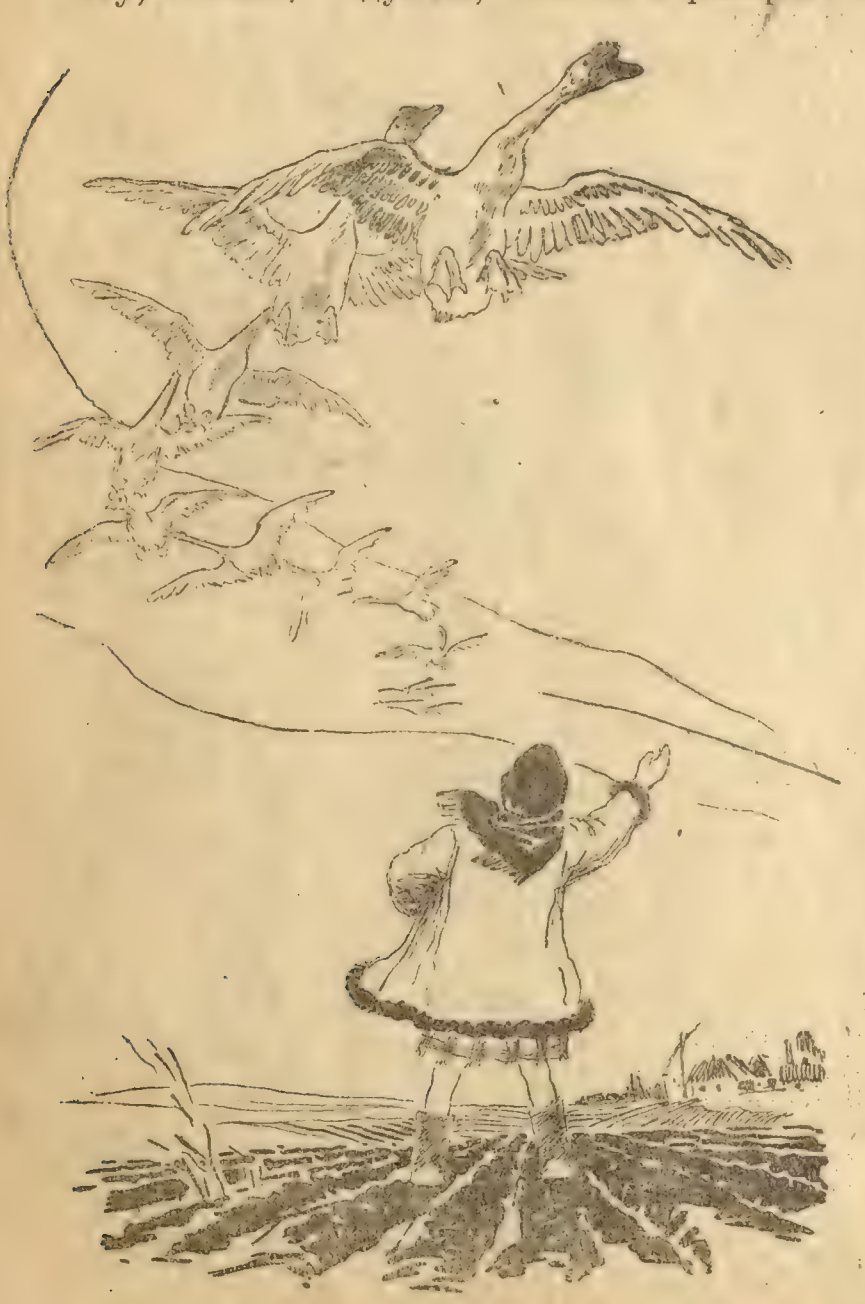
Уже близко соколы наши!

Земля родная, не раскрывайся из-под снега, не выйдут честные люди тебя пахать, засевать, подожди ещё немного, уже близко соколы наши! Тогда, как на праздник выйдем работать.

И хочется мне к земле припасть, солнце молить: подожди ещё немного! Не надо весны!

Вдруг слышу — не гуси гельготят, шумят моторы в небе. Я на сухой, прошлогодний бурьян упала. Привыкли мы так делать, спасаясь от немецких бомбардировщиков. Осенью на моих глазах подругу мою, Соню, разорвало. А немец, он такой, увидит, бежит девчина, ну и бросит бомбу или выстрелит. Они ведь не люди, это уже я знаю.

— Ну, что же, — думаю, — хоть и разорвёт сейчас, а уже и в Шевченковском, и в «Дружбе», и «Ленинском пути» о газете знают. Вот только в «Сталинские всходы» не успела — ну им передадут. Зажмурила я глаза, потом думаю — посмотрю разочек, может, хоть подснежник на прощанье увижу. Немножечко так открыла один глаз и увидела не паучьи кресты на крыльях, а родные наши красные-звёзды! Вскочила я, забыла обо всём, руками машу, прыгаю, и кажется мне, что и самолёт крыльями помахал. А может быть только показалось? Но тут — как защёлкают автоматчики! Я снова упала на землю. Это, думаю, уже правда конец. Нам ведь запрещено выходить и, наверно, видели, как я прыгала, и подумали, что я знаки подавала.



И ругаю я себя, надо же было выдержать, ведь я газету должна доставить, — и радуюсь. Пусть знают наши, что ждём мы их.

Думаю, может доползу как-нибудь. В «Сталинских всхо-

дах» крайняя хата вдовы Докии, хоть бы увидели. Нет, перехватят меня немцы. А если ещё быстрее побежать? Так застрелят, а то хотя бы Докии газетку передала. И повернуться боюсь.

Вся я чёрная от мокрой земли и всё щупаю — есть ли газетка, не потерять бы. И каждый шаг мне, как километр. По дороге ручеёк бежит, как косичка у девочки тоненькая, из воды заплетённая, журчит себе, спешит, и ему ничего. Опустила я в воду руки, вымыла, а через минутку они снова чёрные, а от этого ручейка я вся мокрая. Около разбитого немецкого танка проползла, он всю зиму как привидение торчал. Хотя бы, думаю, до вербы той старой ветвистой доползти, там бы передохнула и под кустами быстро бы добралась.

А автоматчики щёлкают, и около меня одна пуля зажужжала. Прицелились. Смотрю я на ту вербушку, как на маму родную, вот ещё немножко, немножко. И вдруг что-то как ужалит в ногу. Остановилась я, а хата докиина уже близко, рукой подать, уже вижу, дети около хаты крутятся, да не доползти мне, в ноге такая боль ужасная. Я скорее руку за пазуху, смяла газетку и кричу детям докиным:

— Сашко! Мама вам соли передала!

Сашко подбежал, я ему сунула газету в руки и быстро шепчу:

— Читайте и прячьте. Наша газета «За радяньску Украину» и беги от меня скорее. А сама к вербе, присела под ней, прижалась, так нога болит — умру, думаю.

Я ж не знала, что ещё больнее бывает!

Ничего я не понимала, как в тумане была, когда ко мне немцы подошли и потянули обратно к почте.

Не была я там с того времени, как немец в село зашёл. Взглянула я и похолодела. За тем столом, что Михаил Петрович сидел, сидит немецкий офицер, а перед ним связанный наш дед Трохим, а Стельмах и ещё какой-то фриц с кнутами около него, и уже течёт кровь по щекам деда, и правый ус не седой, а красный.

— Ты, дед, головы не морочь! — кричит Стельмах. — Ты тут вчера был и газету украл. Куда ты её дел? Всё равно живым тебя не выпустим.

Покосился дед на меня, насупил брови, а потом выпятил грудь и говорит:

— Не крал я. Это ты, бандит, её украл, своим панам, собака, отдал. А я её у вас забрал, потому что на нашей почте она лежала. А я почтальон и моё дело газеты принимать.

Стиснул губы и отвернулся. Мол, ничего больше не скажу.

Начал Стельмах немцам пояснять, и понял я тогда нашего деда. Вчера его в их правление

вызвали, а он увидел на столе газетку нашу, спрятал её и пошёл. Не ждала я такого от деда, думала, чудаковатый он, да и не очень храбрый дедок, а тут не побоялся! И как вспомнила я, как он вчера хвастал, что ему лично прислали, так жалко его стало, слов нет.

Закричал что-то старший немец.

— Повесить этого старого чорта, чтобы другим наука была, — перевёл Стельмах.

Поволокли его из хаты, а меня вперёд вытолкнули, и начал фриц ихний объяснять, что я знаками самолёту что-то показывала. Меня и не спрашивали ничего, махнул рукою офицер, и поняла я, что и меня за дедом следом.

И бросили меня в холодный сарай, что на почтовом дворе. Там же дед Трохим лежал, губы сжал и не стонал.

— Дедушка, это я, дедушка, Килинка почтарёва!

А дед мимо меня на стену смотрит.

— Украл, говорит, катюга, подлюга, будто не для нас она писана, чтобы я у них крал.

Очевидно, это его больше всего огорчило. Так он гордился, что ему лично прислали, а тут нате вам «украл». А потом начал стонать:

— Не знает Михайло Петрович, как мы тут почту с тобой, Килинка, доставляем, и ему некому передать. Так и лежи, как дурень, и жди, пока тебя повесят. А может быть, я бы ещё лет с двадцать почту советскую честным людям разносил.

И я думаю — близко наши, в газете ж написано близко, а не знают. И как же это так — умру? Там, в степи, не боялась, а тут в сарае холодном, тёмном куда страшней... И так умирать не хочется, и думать об этом боюсь. И знает ли мама моя, где её единственная Килинка.

А потом сама себе говорю, чтобы успокоиться:

— Мы не рабы, чем так жить под немцами и Стельмахом, лучше умереть.

Так все говорят, а всё-таки умирать страшно — и наши уже близко.

Всё-таки я заснула, к деду прижалась и заснула, и всю ночь мне казалось, что стреляют, кричат, и не разбирала я, снится ли мне или в самом это деле. Вдруг слышу, гремит что-то около сарая.

— Это за нами, — подумала я.

Тогда двери в сарай открываются, и стоит моя мама, и в руках у неё топор.

— Килинка! Ты жива ещё, дочечка!

А сама она, как пьяная, шатается.

— Я Стельмаха, — говорит, — топором зарубила.

— Ой, мама! Что же будет. И тебя с нами повесят! — закричала я.

— Нет, дочка, их уж духу нет! — услышала я знакомый голос.

Подняла голову, Михайло Петрович около меня стоит.

— Ну, почтарики мои, живые? — спрашивает.

— Да что же это такое? — плачу я, за маму вцепилась и не разберу, снится мне или вправду всё.

— Выходите, выходите на свет белый, на свет советский, а мы ещё хаты пообыщем, не попрятались ли где.

— А ты, Ирина, — говорит он маме, — садись да в себя приди. Килинка твоя жива. Чего тебе ещё надо? Это она с Докией и другими женщинами мальчишек в лес послали за нами вас спасать, а мы уже с Красной Армией под селом были. Немцы с востока окапывались, а мы с запада подошли.

— Если бы не газета, — молвила Докия, подходя, — терпели б ещё, а как узнали, что близко вы, уже решили — конец палачам, и всё тут.

— Так что газету по правильному адресу мои хлопцы доставили, — улыбнулся Михайло Петрович, — говорили, что под самую почту подбросили...

Ну а дальше вы знаете, как было. Навстречу бойцам все бежали, из земли прятанное выкапывали, чтобы вас угостить. А виселица готовая около почты стояла, даже посмотреть страшно, но под ней зарубленные Стельмах и немцы лежали.

Дед Трохим, проходя, плюнул и говорит Михайлу Петровичу:

— Говорил подлюка, что не украл я газету. Будто не я тут главным почтальоном оставался и не мне почту прислали.

Трое у щели

Н. Ляшко *Рисунки Манжос*

Утром Аниска был с дедом в лесном овраге и видел там отца и старшего брата. Деду они обрадовались, а на него поглядывали косо, и он держался в стороне. Дед о чём-то спорил с ними, пока над оврагом не затрещали кусты. Отец и брат поцеловали Аниску и кинулись прочь, а дед пригнул его к земле и строго шепнул:

— Ну, молчим? Раз ты пионер, должен уметь молчать. Понял?

Когда отец и брат скрылись в рябиннике, дед тряхнул головой и повёл Аниску в лес. Они весь день собирали опёнки, поздние подосиновики, рыжики, а на обратном пути ломали гроздья рябины, связывали их в пучки и вешали на палку.

У деревни их встретили Пимок и Ирка.

— Идите скорее! Бабка плачет, боится чего-то!

Дома всё было попрежнему, даже печь горела, но бабка шикнула на внучат, увела деда в сени и долго шепталась с ним. Грибы и рябину она выставила в кладовку, покормила всех и сердито засуетилась. Ирка и Пимок не понимали, что с нею, и Аниска знающе обрывал их:

— Что да что. Увидите, вот и будете знать.

День уже потухал. Дед внёс в избу широкую доску и плотницкие инструменты. Доску он сунул на лестницу в голбец, прикрыл ею полку, на которой бабка держала чёрную посуду, и по меткам отпилил края. В основании полки он коловоротом просверлил четыре дыры и выстрогал для них колышки. Затем подсадил на полку Аниску и стал учить его вставлять изнутри колышки так, чтобы они держали доску на ребре:

— Соображаешь? Ну, вложил? Доска не падает? Во-о, темно, а в защите будете. Ну, вынимай колышки, слезай. Старуха, умащивай...

Бабка постлала на полке старый пиджак, рваную кофту, обноски шубы, в изголовье положила старые одеяла, а укрыться дала ветхий дедов армяк. Под изголовье она сунула кусок хлеба, три лепёшки, в уголок поставила бутылку с водой и, на всякий случай, тазик.

— Ну, полезайте и ш-ш-ы... а то, гляди, скоро придут...

Первыми на полку взобрались Ирка и Пимок, а за ними Аниска. Он изнутри, как учил дед, поставил на ребро доску, воткнул в дыры колышки, и они

втроем отделились от повседневной привычной жизни. Дед и бабка снаружи пробовали, не падает ли доска, и заботливо шептали:

— Вы як тихо, а то услышат. Ирка, Пимок, слушайте Аниску, он старший. И мышками, мышками. Не капляйте и не плачьте, да не поссорьтесь там.

На полке было темно, только над изголовьем через узенькую щель из избы прокрадывалась полоска сумерок. За Пимка Аниска был спокоен и старательно учил Ирку:

— Захочешь есть — дёрни меня за ухо, захочешь пить — дёрни за нос, я сразу дам, а если ещё чего захочешь, так ползи в уголок, к тазику. Вот он, пощупай. А если невмоготу что будет, так ты лучше ущипни меня, как хочешь щипай, только не говори и не плачь. Слышишь? И кашлять не смей, а то и тебе, и мне, и Пимку будет худо. Пимок, слышь?

— Ты меня не учи,— обидчиво отшепнулся Пимок.— Я без тебя знаю, как надо...

Аниска хмыкнул. Они улеглись и слушали, как бабка и дед хлопочут в избе. Бабка подавала что-то с печки, с полок, вынимала из сундука, бросала к порогу какие-то узлы и шептала:

— И это в яму. А это брось на горище. Да не так берёшь, экий ты! А это в коровник, а это...

Она даже покрикивала на деда, но тот, против обыкновения, не обрывал, её — косил, кряхтел, а когда всё было переношено, как бы слился с протяжным скрипом наружной двери, и в избе, в сенях стало так тихо, что даже Аниска по-

ёживался. Щели уже не видно было. Из голбца тянуло сыростью картофеля, огуречного рассола, солёных грибов и мочёной брусники. Запахи вызывали воспоминания о брусничнике, о том, как бабка шинковала капусту и угощала кочерыжками, но Аниске казалось, что это было не неделю тому назад, а давно, давно.

— Э, ничего не будет! — неожиданно просипел Пимок.

— Тсс, сказано тебе, молчи. Ты лучше спи, и ты, Ирка, спи, и не бойтесь, я не заспу, только чтоб я больше не слыхал вас. Вот так.

Аниска поправил на брате и сестрёнке армяк, потрогал их головы и с досадой стал думать, что брат и сестра сейчас заснут, а он будет лежать при них, в деревне всё будет делаться без него, другие ребята, небось, помогают,

а его, Аниску, завтра поднимут на смех: тоже, скажут, пионер, в голбце с маленькими, как мышь, таился. На этом сознание Аниски стало тускнеть и западать за виденные в лесу мухоморы, за густую рябину, на которую он не смог взобраться, за винтовки, которые были за плечами отца и брата.

Встрепенулся он от стука, шарканья ног, чужого говора, выкриков, вздохов и причитаний,— звуки клубом катились из сеней в тёмную избу. Через щель на полку вбежала золотая полоска света, метнулась к ногам и как бы разбудила Пимка и Ирку. Аниска испуганно провёл рукой по их губам — тсс,— и они приникли глазами к щели.

На столе горела вставленная в стакан с солью свеча. Перед нею сидели два немца в кожаных шляпах. В стороне выпячивали груди два солдата в шапках пирожками. Перед столом на коленях стояла какая-то женщина, а рядом с нею, согнувшись, стояли бабка в кацавейке и дед в разорванной на груди

рубахе. От печи к столу вышел человек в кожаной куртке. На нём болтался невиданный Аниской огромный револьвер. Человек поправил его на себе и сказал женщине:

— Я буду с вами справедливым и вежливым, но вы скажите нам прямо: где сын и старший внук этого старика?

— Да откуда я знаю, — изумилась женщина, и Аниска по голосу узнал в ней свою учительницу.

— Не знаете? А зачем вы оделись в крестьянское. Вот в эти лапти? Куда вы со стариком крались? Я понимаю, вы интеллигентка, вам неловко, но говорите, говорите, нельзя же так.

— А что я могу сказать? Переодевалась я от страха, хотела спрятаться.

— Где вы хотели спрятаться? Ведь вы шли к лесу. Где?

— В лесу и хотела спрятаться.

— Лжёшь! — не выдержал человек в кожаной куртке.— Ты живёшь в школе, через тебя партизаны получали всё, к тебе в школу мужики носили для них хлеб, мясо! Ну?

Аниска крепко сжал губы и глядел через щель так, будто сам стоял перед немцами на коленях. Он боялся, что учительница скажет, что да, и он, Аниска, и дед, и многие приносили к ней узлы,— школа стоит на отлёте, тропа от неё идёт прямо к лесу. Но учительница повторяла, что она ничего не знает, что она женщина, что война не её дело.

Рука человека в кожаной куртке приподнялась и взлетела. Аниска втянул в плечи голову и перестал сознавать, что сидит на полке не один. Человек в кожаной куртке ударил учительницу раз, два, три, затем схватил её за руки и начал выкручивать их, потом схватил за волосы и бил лбом, или носом, или всем лицом о доски пола и пинал её, пока из-под его носков и кулаков не взвились крики:

— Звери! Палачи!

Аниска шевелил губами: так, так их, так. Затем его охватила слабость, к горлу подступила тошнота, звуки вышли из ушей, а свет в щели расплылся и исчез. Только в мозгу что-то отстукивало: так, так, так.

Из горла тошнота медленно опустилась в грудь. Аниска перевёл дыхание и приник к щели. Учительница уже молчала и была неподвижной. Сидевшие за столом немцы как бы лаяли на свечу, а дед и бабка по-прежнему стояли рядом с учительницей и глядели в пол. Человек в кожаной куртке закурил от свечи чёрную, похожую на морковь, папиросу и крикнул деду:

— Ты поведёшь!

— Да бог с вами. Я ведь старый, я уже слепой.

— Ну? ну! В лесу все тропы знаешь! Где сегодня были? Где мальчишка, с которым рябину ломал? Ну, где?

Аниска закусил губу и виском до боли прижался к стене.

— Где внуки?

— Ушли, испугались, сидят где-нибудь. Они маленькие...

— Маленькие? Одевайся и веди!

— Да нет, не поведу я. Куда мне вести?

Человек в кожаной куртке поднял кулак, и в тот же миг на плечо Аниски легла рука Пимки и больно ущипнула его. Аниска вспомнил, что он на полке не один, и стремительно положил на брата и сестру руку. Ирка лобиком уткнулась в ладони и мелко дрожала.

— Ш-ш-ш...

Дед уже извивался на полу, ойкал и взвизгивал. Человек в кожаной куртке скверно ругался и всё бил и бил его. Бабка с мольбами тянулась к его рукам, падала на колени, вскакивала и опять падала. Кулаки и башмаки били деда так долго, что голова Аниски взбухла, и в ней что-то перекатывалось и кололо в затылок, в темя. Мгновениями он уже не понимал, почему Ирка и Пимок не плачут, а сам всё гладил их и думал, что так и надо, что учительница молодец и дед молодец, а Пимок настоящий мальчишка, только вот Ирка дрожит, она маленькая, она...

Крики и стоны оборвались. Бабка упала на деда, головою и руками уткнулась ему в спину и тонко завыла. Человек в кожаной куртке крикнул ей:

— Веди ты, ведьма! — и откинул для удара ногу.

Аниска ущипнул себя и съёжился: сейчас Ирка услышит вопль бабки и заплачет, немцы ринутся к голбцу, выволокут их к столу и будут бить, а его, Аниску, кроме того, заставят вести их в лес, но он, пусть убивают его, не поведёт их, он...

Тяжёлое шарканье, стук двери и внезапная тишина привели Аниску в ужас, и он взметнулся на локоть. Бабки, деда и учительницы на полу уже не было. И немцев у свечи не было. На столе лежал большой опалёный поросёнок. Солдат в шапочке пирожком ловко счищал с него загар, а потом начал потрошить его. Другой солдат растапливал печь.

Во рту Аниски было сухо и горько, будто он наелся зелёной калины. Рука его всё ещё лежала на брате и сестре и легонько покачивала их, пока они не заснули. Вот так, вот и хорошо, вот. При мысли, что брат или сестра заговорят во сне, закричат, его начало лихорадить, а солдаты, как на зло, делали всё молча,— только дрова потрескивали в печи да нож ёрзал по столу.

Чтоб зубы не стучали, Аниска сжимал челюсти и не то думал, не то шептал: как же так? Ведь деда и бабки нет. Разве это можно так оставить? Ведь... надо бежать в лес и рассказать всё партизанам или... А вдруг дед запер голбец на задвижку? Нет, кажется, не запирал. Овраг в лесу он найдёт сразу, но разве отец и брат в овраге? Они где-то далеко, они не одни, их много. А где? Ведь его боялись, ему не говорили...

В голове Аниски поднялся звон, свет свечи слепил глаза. Он по очереди глядел то левым, то правым глазом. Солдат уже снял с поросёнка сало, самого поросёнка разрезал на куски, куски сложил в самый большой бабкин чугун, сверху бросил несколько луковиц, нутряное сало, посолил и закрыл сковородою.

Больше Аниска не мог глядеть в щель. Веки его сомкнулись, и он по звукам определял, что делается в избе. Солдат, топивший печь, кочергой выгреб на шесток углей, окружил ими чугун, и в чугуне запшпело, затем начало клокотать, урчать. Но что это? Аниска приник к щели.

Солдат сорвал с окон занавески и накрыл ими стол. А другой шарил по полкам, в шкафу, в ящике стола, со свечкой вышел в сени и рылся в кладовой. Вернувшись, он открыл голбец, осветил лестницу, касаясь рукою доски, за которой лежал похолодевший Аниска, спустился вниз. На его крик к голбцу подошёл другой солдат, и тот, что был внизу, стал что-то подавать ему. На столе в крынках появились солёные грибы, огурцы, мочёная брусника, творог. Солдаты по очереди нюхали всё, пробовали, прищёлкивая языками, и вдруг отпрянули к печке...

С улицы донеслись голоса, крыльцо загудело, и в избу вошли те, что допрашивали учительницу, и тот, в кожаной куртке. Аниска вздохнул: сонное дыхание брата и сестры утонуло в шуме голосов. Он следил за движениями немцев и пристально вглядывался в того, который бил учительницу, деда и бабку.

Они сели за стол. Солдаты положили перед ними нож, вилки и хлеб, поставили тарелки, обшитые сукном плоские бутылки и чугун. Из-под сковороды вырвалось облако пара, и в избе, даже на полке, запахло жареной свининой. Немцы зачмокали, приложились к бутылкам и начали шумно, жадно, как бы обгоняя друг друга, есть, говорить. Один пытался даже петь, остальные икали, смеялись.

Солдаты были где-то за печкой. После крика они выбежали наружу и вернулись один с дровами, другой с огромным ворохом соломы. Дрова они бросили в печь, а солому разложили на дедову и бабкину кровать, на отцову кровать, на лавки у стола. Дрова в печи ярко вспыхнули. Немцы погасили огарок и раздевались в свете печного пламени.

Солдат ощупал окна, запер дверь, кочергой сдвинул в печи горящие дрова и, чтоб на пол не упали искры, поставил на шесток заслонку. В избе стало темнее, на полу и под лавками пятнами забегал красный свет.

Вот заскрипели кровати, зашуршала солома, вот раздалось сопенье, густой храп, храп потоньше. Аниска как бы приклеивал звук к звуку и, убедившись, что немцы заснули, стал на колени и осторожно вынул колышки. Прислушиваясь, он повалил на себя доску и кое-как перенёс её через брата и сестру к стене. Подождав немного, он опустил на лестницу ноги, потянул на себя дверь и выглянул в избу. Из-за заслонки его окатило золотым теплом, и в памяти заронились жуткие рассказы о печах. Он почти вслух выругал себя за то, что не вспомнил этих рассказов на полке, и перестал сознавать, кто он, сколько ему лет, — силы его утроились. Он прежде всего толкнул брата:

— Пим, тссс, слезай, бери кофту, иди за мною... ш-ш-ш, стой там, я тебе подавать буду.

Пимок прошёл в сени и замер за дверью в темноте. Аниска перетаскал к нему чуть ли не всё, что было на полке. Из сеней они перенесли постель в коровник и взобрались с нею на огороженный досками омёт соломы. Здесь Аниска постлал брату, укрыл его одеялами и шепнул:

— Лежи и молчи, да не бойся, я скоро.

Страх, что Ирка упадёт с полки и плачем разбудит немцев, будто по воздуху перенёс его в сени. Постояв у двери, он боязливо шагнул в прядавшие по избе пятна багрового света и юркнул к голбцу. Ирку он брал со страхом, но она не проснулась. Он выбрался с нею в сени, а когда она была уже подле Пимка, уцелевший где-то петух криком как бы подстегнул его: ему показалось, что он пропускает самое дорогое время.

Он скатился с омёта, сразу же вошёл в избу, жадно глянул за заслонку и перевёл дыхание: в печи всё шло так, как надо, и немцы спали так, как надо.

Он лихорадочно завернул в армяк хлеб, лепёшки, а бутылку, ну её бутылку. Положив свёрток у порога, он прикрыл дверь в голбец, вскочил на табурет и обеими вьюшками бесшумно закрыл трубу. Из печи пахнуло горьким палящим чадом и оттолкнуло его к порогу.

Он медленно закрыл за собою дверь и заторопился. Свёрток мешал ему, и он оставил его в коровнике, а сам выбрался наружу и, стуча зубами, забегал по двору, за сараем и коровником. Деда, бабки, учительницы нигде не было,

а ворота вдруг скрипнули и пошатнулись. Аниска с ужасом пригнулся за телегу и стал на колени.

От ворот отделился солдат с винтовкой, через окна заглянул в избу и, прислушиваясь, пошагал обратно. Аниска взглядом проводил его за ворота, поднялся с колен и юркнул в коровник. Взобравшись на омёт, он засунул под одеяла коченеющие ноги, освободил армяк, сидя как бы огородил соломой себя, брата и сестру от того, что их ждало, натянул на голову армяк и затих. В его сознании кружились солдат с винтовкой, лица немцев, звёздное небо, синие огоньки в печи, а над ним за крышей плыла холодная осенняя ночь, и ему хотелось, чтобы она не кончалась до тех пор, пока не придут красноармейцы или брат и отец с партизанами...

Ирку и Пимка разбудили струйки солнечного света, говор и чей-то крик:

— Угорели! Все, насмерть!

Ирка глянула на спящего Аниску, за Пимком выбралась из-под одеяла, и они припали к просвету в стене. Посреди двора стояли немцы с винтовками и, вытягивая шеи, хмуро и злобно глядели на крыльцо: из избы выносили что-то тяжёлое. Ирка и Пимок вкось увидели плывущие по воздуху чьи-то ноги в башмаках. Пимок вдруг заволновался, толкнул Ирку и шепнул:

— Гляди, гляди, вот тот...

На руках солдат качался человек, который мучил учительницу, деда и бабку. Кожаной куртки на нём не было, руки болтались, а взбухшее лицо напоминало виденную Пимком на колхозной ёлке страшную маску.

Княженика

Е. Трутнева

Княженика золотая,
Спелым соком налитая,
Посажу твоё зерно
В банку, на окошко.
Поскучает там оно
В темноте немножко.

Солнце, грей.
Солнце, грей,
Выходи, росток, скорей!

Воду в лейке принесу, —
Будет дождик, как в лесу.
Выпьет зёрнышко глоток,
Выйдет маленький росток.

Солнце, грей,
Солнце, грей,
Выходи, листок, скорей!

Из зелёного ростка
Выйдет трубочка листка.

Солнце, грей,
Солнце, грей,
Расцветай, цветок, скорей!

Прилетит к тебе пчела,
— Ну-ка, — спросит, — как дела?
Сядет пчёлка на цветок,
Станет пробовать медок.

Солнце, грей,
Солнце, грей,
Зрейте, ягоды, скорей!

Заберётся осень в сад,
Листья нарумянит,
И усатый виноград
На окне повянет.
Встану рано по утру,
Сочных ягод наберу.

Пернатый разбойник

Хорошие места у нас в урочище Дуброва. Есть в ней просторные покосы, есть болота, густые заросли кустарников, есть красивые берёзовые рощи, есть и глухие места, даже непроходимые.

Всякой живности много в Дубровой: волки, дикие козы, хорьки, горностаи, глухари, рябчики, а ночью филины кричат.

Однажды мы с ребятами ходили в урочище за ягодами. Под старой осиной, в мелком молодняке-осиннике, под хворостом нашли гнездо филинят. Их было три: один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, немного побольше кулака. Увидя нас, филинята побольше спрятали между собой малыша, а сами, таращa большие жёлтые глаза, зашипели и защёлкали клювами.

Откуда-то неожиданно прилетел старый филин и стал кружить над нашими головами. Мы вооружились хворостинами.

Мне захотелось взять большого филинёнка домой на воспитание. Эта птица давно меня интересовала, побаивался я её мрачных криков «фуу».

В деревне у нас о филинах рассказывали всякое. Кто рассказывал о том, как филин ночью угнал далеко-далеко лошадей у пастухов, другой уверял, что филин может за человеком слова повторять, а бабка Домна упорно верила, что филин, прилетевший на избу, обязательно какое-нибудь горе несёт.

Отмахиваясь хворостинами от филина-старика, мы вытащили большого филинёнка из гнезда, посадили его в корзину и побежали домой. Наш пленник основательно нас всех исцарапал и поклевал, всё время стараясь выбраться из корзины.

Дорогой мы долго спорили о том, почему у филина птенцы не одинаковы по росту. Только дома мой дядя-охотник сказал:

— Филин сначала кладёт одно яйцо, которое высиживает сам, когда первый птенец подрастёт, то под него самка несёт второе яйцо, которое уже греет своим теплом первый детёныш.

Итак, у меня филин. А чем и как его кормить? Филинёнок всё время пищит: любому понятно, что есть просит.

Нашёл я под крышей воробьиное гнездо, вытащил из него пять воробьят, подал филину одного — хвать и проглотил, второго, третьего. Всех съел!

Как будто и поел, а всё пищит. Решил попоить. Налил в бутылку воды, он открывает рот, а я ему лью, он глотает. Потом привык сам пить, как курица из корыта.

Обжился филинёнок. Накормишь досыта — молчит и дремлет, не накормишь — пищит.

Стал я думать, как назвать его. Долго выбирали с ребятами кличку и решили назвать Филькой.

Несу ему пищу, а сам всё приговариваю: «Филя! Филя!» Ребята придут в гости — так же кричат. Привык: как услышит своё имя, так и начнёт из стороны в сторону покачиваться и пищать.

Всё хорошо, но только надоело мне воробьят Фильке таскать, уж очень помногу он их в день съедал, да и дядя мой уже не один раз мне предлагал его на другую пищу перевести, а то, говорит, «вы всех воробьёв в деревне изведёте».

У нашей кошки как раз в то время были котята, и она каждый день с излишком таскала им крыс и мышей. Я обложил кошку данью в пользу филина. Помню, принёс первую мышь Фильке, держу её за хвост, он прицеливался-прицеливался и хап... Только хвостик мелькнул. Не отказался и от такой крупной пищи, как крыса. Иногда я крыс отбирал у кошки, а потом мы с ребятами их по нескольку штук в день ловили на складах колхоза. Интересно было, как Филька справлялся с первой крысой. Обычный приём: возьмёт в клюв, головой трясёт, машет, покачивается из стороны в сторону, а сам глотает. Рвать пищу на куски в первое время он не умел, но ел много, по пять-шесть крыс.

Один раз я напугался. Дядя застрелил галку, я отдал её Фильке. Он хотел сразу её проглотить, да не удалось. Оборвал я у галки хвост, крылья, опять отдал, он её проглотил, глаза зажмурил от удовольствия.

Филин рос быстро, скоро курицу догнал, обозначились уши, начал густо покрываться красивыми перьями. Ко мне и ко всему населению нашего двора совсем привык. Я стал его выпускать из клетки, и он свободно, в перевалочку с ноги на ногу, похаживал по саду и двору. Не стал бояться ни коровы, ни свиньи. Только держал себя настороже с кошкой и с собакой, с которыми у него было много ссор.

На первых порах кошка с собакой целыми часами наблюдали за Филькой, были у них попытки придушить его, но я заступался. А потом Филька и сам себя в обиду не давал. Как только собака подходит к нему, так он шипит, бьёт её клювом и царапает.

Постепенно он начал взлетать на крышу; на высокие деревья.

Вскоре обнаружилось, что он ночами летает по деревне. Пошёл я в магазин, вдруг меня останавливает бабка Домна и начинает ругать:

— У тебя, сорванец, говорят, филин живёт? А ты знаешь ли, что филин самая вредная птица, сколько от него народ слёз пролил? Напугал он меня сегодня ночью. Проснулась от страшных криков, вышла на двор, а твой филин сидит на крыше и фугует. Не к добру это... Ты виноват во всём будешь, если беда на меня какая нагрянет.

Пришлось от бабки поспешно уходить.

Вернулся из магазина, пошёл в сад Фильку журить, а он под кустом малины треплет Пимку, моего любимого котёнка. Котёнок пищит, а Филька распустил свои крылья, шипит, клювом щёлкает. С трудом отобрал Пимку из лап разбойника.

Не успевал я записывать, запоминать всякие приключения и проделки, в которых был замешан мой Филька.

Но однажды Филька сам попал в неприятную историю: медку ему захотелось. Смотрю, сел на улей.

Я подошёл к Фильке и говорю:

— Что ты, большеголовый, тут делаешь? Хочешь, чтобы тебя пчёлы нажалили?

Остался филин на улье, начал нос лапой чистить. Вдруг он шарахнулся, замотал головой, отпрыгнул с улья и с жалобным писком поковылял в заросли малины.

Под вечер Филька пришёл к корыту пить, я испугался: один глаз закрылся громадной красной шишкой; Филька окривел.

Я ему сказал:

— Говорили тебе добром, зачем забрался на улей?

Весь день он был вялым, даже не просил пищи, голова, видимо, болела. Долго оставался он кривым.

Когда Филька стал везде летать, то почти каждый день у нас в саду начинались птичьи скандалы. Как только филин выберется на видное место, так к нему со всех сторон летят сороки-белобоки, вороны-каркуши, галки и грачи. Поднимается гвалт. Филька сидит, вертит башкой, а они около него летают, то с боков, то сверху нападают, иногда филин сидит-сидит да и бросится на них, они от него в разные стороны.

Мы с дядей ухитрились под этот шум из укромного местечка бить галок из мелкокалиберки. Вся эта птичья кутерьма Фильке на пользу шла.

В августе Филька настоящим разбойником сделался. Он научился ощипывать и рвать на куски птиц. Захватит в лапы, как в клещи, и клювом рвёт. Утрами и вечерами начал нападать на котят, на маленьких собак, на кур.

У бабки Татьяны, что живёт неподалёку от нас, он петуху голову оторвал. Бабка прибежала жаловаться и ругаться к дяде. Мы ей купили петуха на птицеферме в колхозе. Успокоилась бабка, я вздохнул свободно. Но не тут-то было.

Через несколько дней видим, бабуся плетётся к нам и несёт подмышкой петуха.

У меня сердце ёкнуло, спрашиваю:

— Что, бабушка?

— Не надо мне этого петуха, давай другого. Это не петух, а воображало какой-то; ни на одну курицу и глазом не поведёт.

Вот беда. Поплёлся я в соседний колхоз, в котором разводились петухи другой породы — красные и большие. Обменял, два рубля приплатил, петуха выбрал наславу: высокий, орёт, как паровоз. Бабка этим петухом осталась очень довольна.

Вечером зашёл в сад, Филька сидит на сосне, я погрозил ему:

— Разбойник! Идол! Из-за тебя со всеми старухами в деревне в войну вступишь.

И на самом деле. Бабка Татьяна опять пришла с петухом.

— Это не петух. Избил чисто всех. Меня бьёт, кур бьёт, кошку бьёт... Убирай, убирай, куда знаешь. Не приму такого петуха.

Что делать? Ещё раз сходил и обменял петуха. Несу его и чуть не со слезами всю дорогу глажу по голове и упрашиваю:

— Будь, Петя, умницей, успокой ты старуху, наведи ты у ней в курятнике порядок, измучила она меня.

Петух тот, видимо, удался, бабка больше не бывала с жалобами.

Только я уладил петушье дело, как Филька новый фокус проделал.

Мой друг Миша Коновалов кормил и дрессировал голубя. Голубь у него, как и мой филин, везде летал и никого не боялся. Миша часто хвалился передо мной:

— Из твоего филина никакого проку не выйдет, обжора и только. А мой голубь может почту носить.

Я ему сказал тогда:

— Мой сильнее твоего голубя, если попадёт твой голубь моему Фильке в лапы — конец ему будет.

Так оно и случилось. Прибежал ко мне Миша и кричит:

— Убью твоего филина: он у меня голубя утащил.

— Ну?!

— Прилетел к нам на ворота и сидит. Я его не прогнал. А голубь его, видать, за курицу принял, не побоялся. Когда я дал корм голубю, филин прилетел на забор, потом и на землю спустился. Голубь воркует да зёрнышки клюёт, а филин рядом сел. Я ещё порадовался, что они дружить начинают. Только так подумал, а филин хап лапой голубя, да и был таков.

— Ну?!

— Не ну, а убить твоего филина надо.

— Что толку, Миша? Дело не исправишь, ты сам виноват: должен был прогнать филина.

— Что я знал, что он гадом окажется?

Миша порывался в сад, но я его не пустил: камнем ударит и, в самом деле, убьёт.

Миша ушёл от меня злой, даже калитку не прикрыл за собой. Я струсил. Друг был сильнее меня, он может со злости побить, может, конечно, и филина подшибить. Новое дело было куда серьёзнее петухов.

Пошёл в сад. Крикнул Фильку: он откликнулся из малинника. Нашёл его там, он сидит и, верно, щиплет голубя.

Решил после этого посадить его, разбойника, в клетку. Выбрал место под большим вязом, вкопал четыре столбика, обшил их тёсом со щелями. Верх клетки забросал палками и соломой. Вечером подманил Фильку, поймал и в клетку. «Сиди на гауптвахте, раз не умеешь мирно жить с деревней».

Два дня пищал, а потом привык. Нашест ему в клетке из палки сделал, он на нём всё и сидел.

Начался учебный год. Часто ребята из школы собирались ко мне посмотреть филина, приносили гостинцы.

Начались холода. С деревьев падал лист, малина пригнута к земле колышками, в сад допущены куры. Они ходят и лапами ворошат жёлтый ковёр опавших листьев.

Зашёл после занятий в сад, висит перед клеткой курица, трепещется. Подбежал, а курица без головы. Филька щёлкает, в когтях держит голову курицы.

Видимо, курица просунула голову к Фильке в клетку. Досталось же мне от тётки и бабушки!

В октябре Филька ночами начал фугать. Страшно, таинственно и красиво он издавал свои «фу-гу!»

Иногда я выйду на крыльцо, крикну глухим голосом «фу-гу», а он мне отвечает: «фу-гу». Далеко крик его катится ночью по перелескам, за деревней.

Выпал снег. Куры уже не бродили по дворам и по улице. Собрался я выпустить Фильку на волю, пускай в саду живёт. Пришёл из школы, не заходя в квартиру, к нему.

— Филя!

Нет ответа. Что с ним? В клетке нет. Улетел? Мишка убил?

Захожу в дом, ещё не успел спросить никого, как маленький братишка мне всё объяснил:

— Филю рюх-рюх- била, рюх-рюх плакал. Во-от!..

Пришёл дядя.

— Ну, брат, твой разбойник удивил весь мир. Свинью потащил под облака, но тяжела оказалась.

— Как?

— Под крышей иди смотри, отдыхает после трудов.

Я мигом в двери и под крышу. Лежит истрёпанный труп Фильки, голова в крови, одно крыло оторвано. Чуть не заплакал.

Когда я был в школе, в сад зашла свинья. Вздумала почесаться о филькину клетку, оборвала одну доску, Филька из клетки вышел. Из-за чего у них возникла ссора, неизвестно. Только вдруг завизжала свинья и ринулась бежать из сада на улицу. А на ней Филька сидит и бьёт крыльями. Свинья галопом пробежала по всей деревне. Народ с гиком и свистом встретил лихого наездника. Свинья кинулась под ворота да и раздавила у досок своего храброго седока.

Так и погиб мой забавный друг.

Владимир Мошков,
ученик 6 класса села Печеркинского.

СЕДЬМОЙ ПОХОД

Рисунки В. Таубера

К. Рождественская

В одной деревне жил-был мальчик Федя, и было у него три друга: чёрный дятел Долбун, певчий дрозд Деряба и синичка-лазоревка Дзинька.

Зимой друзья жили с Федей в глиняной избушке с красной крышей, а весной улетали к реке, в дубовую рощу. В конце лета Федя подзывал их и говорил:

— Ну, ребятки, пора нам в поход.

И они отправлялись путешествовать.

Это было удивительное путешествие. Едва они подходили к деревне, как навстречу им выбегала гурьба ребят.

Федя вытаскивал из кармана берёзовую свирельку и, напгрывая на ней, говорил:

Мы не волки, не медведи,
Не вороны, не песцы,
Ваши добрые соседи—
Деревенские певцы.
Кри!

При последних словах подымался чёрный дятел Долбун. Сдвинув на лоб красную шапку, он стремительно взлетал на дерево и отбивал носом коротенькую песенку: «Унта-буита, тук! Курта-гурта, сук!»

После него выступала Дзинька. В жёлтой кофточке и голубой шапочке. Она взлетала на вершину дерева и, зацепившись за самую тоненькую веточку, повисала вниз головой. А потом, вспрыгнув на толстый сук, Дзинька кувыркалась и напоследок исполняла одну светлую трельку: «Цилили-цилили».

Последним выступал дрозд Деряба, с круглыми крапинами на светлой рубашке. Деряба был очень хороший певец. Он пел всегда грустно и торжественно, и всем казалось, что он играет на золотой флейточке.

Ребята кричали: «Бис, браво!» Федя кланялся направо и налево, а друзья его, покачивая головками, говорили каждый на своём языке: «До свиданья, до свиданья».

Так путешествовали они шесть лет. Федя вырос и стал совсем большим.

Они собирались в седьмой поход, как вдруг всё разом изменилось. На их землю напал дракон в чугунном панцыре — Змеюлан Крылатый. Он привёл с собой огромную орду диких змеюнов с чёрными крыльями, и те начали всё жечь, всех убивать.

— Я иду на войну, — сказал Федя, бросая свою свирелыку.

— А мы? — воскликнула Дзинька, — мы тоже пойдём на войну.

— Нет, — сказал Федя, — вы оставайтесь, а я скоро вернусь.

Когда Федя ушёл, Деряба сказал:

— Я тоже улечу куда-нибудь. Что мне делать? А весной, может, вернусь сюда, а может, и не вернусь.

И он покинул своих товарищей.

Как сразу опустел и затих глиняный домик! Ведь ещё недавно жили в нём четверо закадычных друзей, и вдруг осталось только двое. Дзинька сидела на ветке одна-одинёшенька и тихонько насвистывала свою коротенькую трельку: «Цилили-цилили».

Подошли холода. Дзинька и Долбун перекочевали в дальние леса.

Осень они перекоротали хорошо, а как пришла зима с морозами да со снегами, стало очень плохо. Правда, Дзинька и Долбун могли вернуться в свой глиняный домик, но ведь они не умели топить печку и даже не могли закрыть за собой форточку, через которую влетали с улицы.

Весной, как только вылез на солнышко первый подснежник, друзья полетели домой. Скорей-скорей! И вот знакомый горбатый холмик, узенькая речка вдали... Но где же дубовая роща? Где же глиняный домик с красной крышей?

На месте старых дубов торчали чёрные истуканы, на месте домика лежала груда золы.

Здесь накануне были дикие змеюны. Они сожгли всё и умчались дальше, треща чёрными крыльями.

— Мне страшно, — сказала Дзинька, широко раскрыв свой крошечный ротик. — Змеюны сожгли нашу землю. Нам негде даже свить гнёздышко. Здесь всё умерло.

— Ты глупа, как чечётка, — сердито сказал Долбун. — Земля совсем не умерла. И вообще её нельзя умертвить. Пройдёт неделя, не больше, и земля опять заговорит. А, впрочем, решай сама — ты не маленькая. Улетай в другое место, если хочешь, но прежде подумай.

Дзинька подумала и осталась.

А через неделю земля, действительно, заговорила. Вначале она выпустила на солнышко столько трав и цветов, позвала в гости столько букашек, божьих коровок, бабочек, шмелей и пчёл, что вокруг всё разом зашевелилось и загудело. А потом явились перелётные птицы: журавли, чайки, пеночки. Они заговорили на разные голоса, и стало вдруг весело и шумно.

Однажды рано утром Дзинька услышала в небе знакомый грустный голос.

— Деряба, миленький, — закричала она, — мы здесь, мы здесь!

И верно, это летел Деряба.

Он страшно устал с дороги. Только подумать, он летел из Северной Африки и прямо удивительно, как он не заблудился дорогой. В Африку Деряба попал совсем случайно. Туда летели зяблики и кукушки, и они позвали его с собой. В Африке оказалось вдоволь пищи: и червяков, и букашек, и всяких ягод. А главное, очень тепло.

Как-то в Африку залетел ветер с востока. Он заглянул на озеро, где купались перелётные птицы, и шепнул им по секрету, что на их родину идёт весна. Кукушки, зяблики, дрозды живо начали налаживать песни и подняли такой гам, что переполошили всех африканских птиц.

И вот вожак подал сигнал к отлёту. В воздух разом поднялись три воздушных отряда: зяблики, кукушки и дрозды. Они так спешили, что позабыли проститься с африканскими приятелями. А когда показалось родное небо, то совсем забыли про Африку.

Вдруг вожак крикнул: «Берегись!» И мимо них, свистя чёрными крыльями, пронеслись огромные драконы в окружении чёрных воронов и сорок. За ними вслед тянулись чёрные клубы дыма.

— Кто это? — со страхом спросил Деряба. Ему никто не ответил, потому что никому не приходилось видеть змеюнов.

Когда дым немного рассеялся, открылась голая равнина, по которой с глухим ворчаньем ползло багровое пламя.

Вожак беспокойным взглядом осмотрел горизонт и заметил вдали тёмную полоску. Там был лес, а здесь ни деревца, ни кустика. И они направились туда.

Уже стемнело, когда усталые путешественники достигли леса. Они укрылись под ветками и мигом заснули.

Деряба собрался тоже вздремнуть, как вдруг услышал какой-то шорох. Деряба открыл один глаз. Недалеко от него стояли два человека. Они суетились возле какой-то неведомой трубы. Деряба открыл второй глаз и чуть не вскрикнул от изумления и радости. В пяти шагах от него стоял сам Федя.

Деряба только хотел крикнуть: «Федя!», как из трубы выскочил огонь и что-то страшно бахнуло. Деряба чуть не свалился с ветки. А потом бахнуло где-то вблизи, потом подальше, и загудел весь лес. Целых полчаса грохотал лес, и потом вдруг наступила тишина.

Федя сказал своему товарищу:

— Ну, задали змеюнам жару-пару. Теперь долго не сунутся. — И Федя с товарищем прилегли на землю возле грозной трубы.

Когда Деряба пришёл в себя, было тихо-тихо. Только на опушке леса что-то потрескивало. Федя спал, и Деряба не решился его разбудить. Оставалось ждать до утра. Но Дерябе не сиделось на месте. Ему хотелось прыгать и петь. Петь от радости, что наконец-то увидел Федю. Он понимал, что сейчас, когда все спят, петь не следует. Но что мог он поделать с собой: песня так и рвалась из горла. И Деряба не выдержал. Он снялся с ветки и перелетел на дерево, которое одиноко стояло на склоне глубокого оврага.

И там он запел. Он пел точно во сне. Короткими отдельными трелями, торжественно и радостно, как будто читал свои стихи. Его слушал лес, его слушали звёзды и слушал его также Федя. Он проснулся при первых же звуках песни. Он сразу узнал нежный, хрипловатый голос Дерябы. И он встал с земли и постепенно пошёл на этот голос, чтобы расцеловать милого певуна, с которым не виделся почти год. Он подошёл уже к дереву, стал на краю глубокого оврага.

И вот тут случилось то, в чём Деряба так и не разобрался до конца. Со дна оврага выскочили два огромных змеюна. Они налетели на Федю так внезапно, что он не успел даже вскрикнуть, а Деряба просто ничего не понял. Когда он немного опомнился, Федя лежал уже на земле.

Напрасно Деряба кружился над ним с печальными криками, напрасно долбил клювом по чугунным черепам змеюнов, напрасно рвал когтями их жилистые чёрные крылья.

Змеюны опутали Федю верёвками и, закрыв ему рот, поволокли куда-то. Деряба полетел за ними. И он видел, как змеюны затащили Федю в глухой осиновый лес и бросили его в тёмную высокую башню.

Башню охранял облезлый одноглазый филин. Змеюны крикнули ему на левое ухо:

— Завтра в двенадцать часов мы вздёрнем его на виселицу. Если же явятся люди, немедленно сообщи нам через гадюк. Они будут лежать около башни.

Деряба был в страшном отчаянии. Он рвал на себе перья. Если б он мог предвидеть, что так может случиться! Но дело сделано. Башня закрыта на замок. Филин зорко озирает её с высокого сука. В траве злобно шипят гадюки. Дерябе ничего не оставалось, как удалиться. Он полетел домой.

И вот он сидит перед своими товарищами и рассказывает им свои злоключения:

— Завтра во сколько часов? — отрывисто спросил Долбун после долгого молчания.

— В двенадцать

— Ах, ястреб их возьми! — вскричал Долбун и яростно начал стучать по ветке.

Когда он немного успокоился, то стал расспрашивать Дерябу, где стоит башня, какие у неё стены и какие окна.

— Превосходно! — прокричал Долбун, выслушав Дерябу. — Тогда мы выручим нашего Федю.

— Как?!—воскликнули Деряба и Дзинька в один голос.

— А для чего у меня клюв? Разве мой железный нос не продолбит любую стену и любую раму? Разве меня уже перестали звать первым плотником-долбуном? — и Долбун недоверчиво посмотрел на товарищей.

— А филин? — возразила Дзинька.

— Пустяки. Я сейчас подумаю, — пробормотал Долбун и ещё громче застучал по ветке.

— Я придумал! — воскликнул он через минуту. — Мы устроим седьмой поход. Да, да, седьмой поход, — повторил он, видя, что товарищи не понимают его, — я буду долбить раму, а вы пойте песни этому одноглазому филину. Слушай, Деряба, — продолжал Долбун, — Соловей тебе как будто приходится кумом? Позови-ка его сюда. Без него нам похода не устроить.

Тут снова вмешалась Дзинька. Она сказала, что Соловей начинает петь лишь тогда, как напьётся воды с берёзового листка. А берёза ещё не распустилась, и никому неизвестно, когда же она захочет развернуть почки.

— Ничего, мы это сейчас узнаем, — сказал Деряба, который сразу же повеселел после решения Долбуна.

Он тихо свистнул. Ему никто не отозвался. Деряба подождал немного и закричал на весь лес нежным хриповатым голосом:

— Приди, кум, приди, кум! Деньги есть, деньги есть. Пошлем.

Это был у него с Соловьём условный шутливый сигнал. И тотчас откуда-то издалека донёсся ответный голос.

Соловей явился очень скоро. Вся компания сидела под молодой дубовой порослью. Вздёрнув над крыльями свой довольно длинный хвост, Соловей отвесил общий поклон и остановился в ожидании.

Долбуш был плохо знаком с Соловьём и не знал, с чего начать разговор. А Деряба ни с того, ни с сего завёл речь об Африке и африканских бабочках. Дзинька же всё охорашивалась, поправляла голубую шапочку и непонятно лепетала своё: «Си-си». Соловей с недоумением поглядывал на них большими умными глазами.

Выручила Дзинька. Она вдруг защебетала, защебетала и всё разом выложила перед Соловьём.

— Я готов, — сказал Соловей, узнав, что от него требуется. — Скажите, когда выступать и где сбор?

— А берёзовые листья? — не удержалась опять Дзинька.

— Завтра они распустятся. Сок идёт уже десятый день, — ответил Соловей и чуть-чуть улыбнулся.

Тогда всем стало легко, и все начали обсуждать завтрашний поход.

Уже вечерело, когда они кончили совещание. Соловей вежливо раскланялся со всеми и улетел домой. Деряба поспешил к своему гнезду, — он ведь ещё не бывал там с прошлого лета.

Эту ночь он не спал. Сидя у своего дырявого гнезда, он вдруг понял, что в несчастьи Феди виноват только он. И теперь во что бы то ни стало он должен выручить своего друга, хотя бы для этого пришлось и погибнуть. Вот почему Деряба утром прилетел на сбор раньше всех, и вид у него был мрачный и решительный.

Потом явился Соловей.

Дзиньку пришлось будить. Эта озорница спала так безмятежно, как будто у неё был выходной день. Долбуш легонько стукнул её по голубой шапке, которую эта модница не снимала даже ночью. Она открыла глаза и спросонок пробормотала:

— Ситете! Я кажется проспала завтрак.

Но увидев Долбуша, сурового и грозного, Дерябу, мрачного, с покрасневшими глазами, Соловья, спокойного и очень величавого, она вдруг вспомнила о походе и засуетилась:

— Я сейчас, сейчас, минуточку обождите. — И, оправив на груди жёлтую короткую кофточку, вспорхнула вниз, где её ожидали участники великого похода.

— В полёт! — скомандовал Долбуш, надвинув на лоб красную шапку.

И они полетели по кратчайшей дороге, которую указывал им Деряба. Внизу под ними вздымалось высокое пламя. Это горели деревни и леса, подожжённые змеюнами.

Впереди показался берёзовый лесок. Он один уцелел от огня. За ним тянулось дикое моховое болото и дремучий осиновый лес. Там-то и стояла башня, где сидел Федя. И там неподалёку находился под землёй дворец Змеюлана Крылатого. Но об этом никто не знал.

Долбуш сделал глубокую дугу в воздухе и, прижав крылья, низвергнулся вниз на полянку. Здесь они устроили привал. Долбуш тотчас отправил Дзиньку разведать, где филин, что он делает и как Федя чувствует себя. Дзинька живо вспорхнула и скрылась за деревьями.

Она явилась довольно скоро, держа в клюве кусочек сала.

— Ситете! — бойко прощебетала она, выкинув сало к ногам Долбуна, — кушайте, пожалуйста. Я стащила его у одноглазого филина.

— Это несносно, — гневно прервал Долбун, — её послали в разведку, а она занималась там каким-то змеюланским салом.

— Ничего подобного, — обиженно возразила Дзинька, — я побывала у Феди. Он такой бледный, такой худой, что просто ужас. Я просунула ему через решётку кусочек сала, и он очень обрадовался. Потом я спросила, как он живёт, и он сказал, что сегодня в двенадцать часов его обязательно повесят... И совсем я змеюланским салом не занималась...

— А филин, филин где? До чего бестолковая птица! — раздражённо воскликнул Долбун.

— Филин?! — оторопев, пролепетала Дзинька; — он там. Он сидит на суку, а глаз у него крутится, как колесо.

— Это почему же крутится? — с недоумением спросил Долбун.

— Ну, крутится, и всё. Я же его не спрашивала.

— А ещё кто там?

— А ещё три гадюки и сойки. Гадюки тонкие, как нитки, и лежат у башни в траве. Они хотели было куснуть меня за ногу, но я...

— Довольно! — оборвал её Долбун.

Помолчав, он сказал коротко и решительно:

— Друзья, подготовьтесь! Деряба, ты будешь моим правым крылом. Я на тебя надеюсь. Если что — выручай. А ты... — он пронзительно взглянул на Дзиньку, которая стояла перед ним, как провинившаяся девочка перед отцом.

Долбуну стало жалко её, и он сказал:

— А тебе, Дзиня, придётся начинать первой. Будь, как Федя. Смотри, не спеши и не болтай лишнего.

— Цилили-цилили, — пропела Дзинька и, забыв сразу свои огорчения, перекувыркнулась вниз головой.

— А ты, Соловей, — продолжал Долбун всё так же сурово и торжественно, — ты будешь моим левым крылом. Если произойдёт какая-нибудь заминка — действуй быстро и решительно.

— Я готов, но берёзовый листок... — смущённо проговорил Соловей.

Тут все вспомнили о берёзовых листьях.

В самом деле, листьев на берёзе ещё не было. А вместо них торчали на голых ветках расхохлаченные почки. И никто, даже Соловей, точно не знал, в какой же час распустятся эти ленивые хохлатки.

Долбун порывисто забегал по песчаной дорожке. Резко повернувшись к Соловью, он сказал:

— Я не понимаю вас. Неужели нельзя напиться из ручья, из лужи, откуда хотите? Вы должны понять, что сейчас не такое время, чтобы думать о своих старых капризах.

— Если бы я мог... — тихо пробормотал Соловей.

Со стороны башни вдруг долетел неясный шум.

Дзинька быстро слетала туда и, вернувшись, сообщила, что филин привязывает верёвку к перекладине.

Долбун пришёл в сильнейшее волнение, Деряба ожесточённо застрекотал. И потом все замолкли, со страхом следя за тем, как уменьшавшись на земле их

и без того крошечные тени. Ещё полчаса, час, и солнце встанет прямо над головой. Тогда будет поздно! — пробьёт двенадцать часов.

Внезапно тени пропали. Откуда-то налетело лёгкое облачко, и полил первый весенний дождь, редкий, крупный, тёплый.

Дзинька вдруг пронзительно закричала:

— Листок развернулся!

— Где-где? — заорал Долбун и, шумно хлопая крыльями, взлетел на ближайшую берёзу. Туда же кинулись и все остальные. И вот на глазах у них берёзовые хохлатки-почки встрепенулись будто от ветра и начали разворачиваться. В одну какую-то секунду они высунули продолговатые листочки, ещё сморщенные, ещё клейкие, но зелёные-презелёные. А через секунду-другую дождь прекратился, и солнце снова засверкало, как раньше. На листочках же заблистали капли чистой дождевой воды. Соловей жадно припал к ним. Он выпил одну капельку, потом другую, потом третью, и глаза его засияли от радости. Дзинька, конечно, тоже захотела напиться из зелёных блюдцев, но Долбун нетерпеливо застучал внизу, и она, глотнув всего одну капельку, поспешно спустилась с дерева.

И вот они тронулись в путь. Дзинька была проводником. Долбун зорко посматривал по сторонам.

Они миновали дикое болото и полетели над глухим непроходимым лесом, где росли одни осины и летали хитрые кровожадные сойки.

У Дзиньки дрожало сердце от их зловещих криков, но она летела вперёд.

Сверху донёсся до них глухой голос:

— Худо тут, худо тут!

Это старый удод Бубудун, пролетая над тюрьмой, предупреждал об опасности.

Показалась высокая тёмная башня. Маленькое решётчатое окошко выходило на дальний конец мохового болота. Железная дверь была закрыта на три висячих замка. Здесь в башне и сидел Федя, прикованный цепью к окну.

Вдруг чей-то знакомый крик донёсся до его уха. Звеня цепью, Федя подбежал к решётке и замер. Да, так и есть! Где-то близко щебетала Дзинька, потом заговорил Долбун. Но Федя ничего не мог разобрать и ничего не мог увидеть. Перед ним лишь расстилалось пустынное моховое болото да стремительно носились черноголовые сойки, крича: «Кррэ-кррэ».

А в это время там, по ту сторону башни, происходило вот что.

Дзинька стояла в двух шагах от филина и робко переминалась с ножки на ножку. Она два раза прощебетала: «Ситете, ситете», что значило: «привет, привет», но филин не обратил на неё ровно никакого внимания. Он даже её и не видел.

В эту минуту он вообще ничего и никого не видел, потому что круглый жёлтый глаз его крутился, как мельничное колесо. Дзинька обождала немного и в третий раз сказала: «Ситете». Филин пошевелил левым огромным ухом, заросшим перьями, и остановил свой жёлтый глаз. Теперь он заметил и Дзиньку и всех остальных. Дзинька собралась с духом и пропела:

Мы не мыши и не зайцы,
Не жучки и не птенцы,
Ваши мирные соседи —
Деревенские певцы!
Кри!

Тогда Деряба взлетел на осинку и пропел песенку-веснянку; которую он специально придумал для этого похода. Правда, она была без слов, но такая боевая и задорная, что расшевелила даже филина. Он выкатил свой жёлтый круглый глаз и, притопывая мохнатой лапой, жадно уставился на Дзиньку; которая то подскакивала перед ним на одной ножке, то усердно перекувыркивалась вниз головой.

А Долбун тем временем скрылся за высокой башней, и скоро ветер донёс оттуда короткую барабанную дробь.

Дзинька и Деряба застучали носом по дереву и во весь голос запели:

Стук, стук в десять рук,
Приударим, братцы, вдруг!

Они пели и стучали настолько громко, что филин недовольно прохрипел:

— Что вы орёте, как оглашённые; я ведь не глухой.

Долбун, между тем, долбил и долбил оконную раму. Он работал как заправский плотник. «Живее, живее!» — подбадривал он себя, боясь только одного, чтобы череп его не раскололся раньше перекладины. Наконец, средняя перекладина треснула, Федя схватился за неё руками и легко выломал её. Долбун вне себя от радости прокричал своим друзьям:

— Держитесь! Скоро конец!

Услышав эту весть, Деряба запел ещё лучше, а Дзинька пошла в пляс. Осиновые почки, желая взглянуть на золотую флейточку Дерябы, начали тихонько пошевеливаться, и развернулись в полные настоящие листки.

У филина же была такая глупая блаженная морда и жёлтый глаз его сверкал таким диким огнём, что Дерябе стало смешно, и он вздумал напоследок подшутить над филином. Взял да и спел одну забавную песенку:

Нет ли, нет ли у тебя
В доме лишнего вина?
Если сладкое вино,
Давай, выставь нам его,
Мы по рюмке разопьём,
Свою душу отведём.

И тут случилось то, чего никто не ожидал. Круглый глаз филина неожиданно завертелся колесом, из него полетели искры, и филин, махнув крылом, прохрипел:

— А, ну вас...

И неуклюже заковылял к башне, прямо туда, где была дверь. Он вспомнил, что там, над дверью, стоит у него жбан с водкой, и он решил из него немножко хлебнуть.

Ещё минута-другая, филин повернёт за угол башни и увидит развороченную раму, увидит Долбуна возле неё, а что будет потом — страшно и подумать. Деряба просто окаменел от ужаса, а Соловей затрепетал крыльями.

Лишь Дзинька, озорная малютка Дзинька, не растерялась. Она цветным клубочком подкатилась к когтистым лапам филина и пропела тоненьким голоском:

Не сердись, хозяин наш,
Сменим песенку сейчас.
Си-си!

Сама при этом чуть заметно кивнула головкой Соловью. Тот понял её сигнал и мигом взлетел на осину. Теперь только от Соловья зависел конец похода. Либо он остановит филина, тогда Федя будет спасён, либо филин двинется дальше, и тогда всё пропало. Филин тотчас сообщит гадюкам, и те моментально прошипят змеюнам.

Соловей насупился, сгорбился, свесил крылышки. На это ушла одна секунда. Филин в это время сделал два скачка вперёд. Соловей легонько щёлкнул, присвистнул. Филин сделал третий скачок и завернул было за угол башни

Тогда Соловей дал такой раскат, что филин, этот глухой тюремщик, остановился в изумлении и, отскочив в сторону от башни, замер, как вкопанный.

Соловей не кончил ещё своей песни, как на поляну вылетел Долбун, весь взлохмаченный, вспотевший.

— Клюэ-э! — воскликнул он ликующим голосом и скороговоркой прокричал, что Федя свободен.

Данилка на радостях подхватила Дерябу за правое крыло, Соловья за левое, и они втроём пропели первое, что им пришло в голову:

Змеюлан, Змеюлан,
Распроклятый Змеюлан,
Твоя пташка улетела,
Волноваться не велела.

Филин, совершенно обалделый, сердито спросил:

— Что вы тут болтаете о моём могучем повелителе?

— А мы говорим, — с озорным видом прощебетала Дзинька, — что повелитель Змеюлан Крылатый приказывает вам сию же минуту явиться во дворец за наградой.

— За каким виноградом? — прохрипел старик, начиная сердито вращать круглым глазом. — Теперь весна, что за виноград?

— Да не за виноградом, а за наградой, — пояснила Дзинька, подлетев к его огромному уху.

— А, за наградой! Это другое дело...

Филин расправил свои круглые крылья и бесшумно полетел в глубь леса, где был подземный дворец Змеюлана Крылатого.

Едва он скрылся из вида, на поляну выскочил Федя с оторванной цепью на ноге.

— Ну, ребятки, домой! — крикнул он.

К вечеру они прибыли домой. Федя упал на траву и заснул, как убитый. Долбун всю ночь стоял на карауле. После тяжёлой работы у него болела голова. Тем не менее он ни разу не сомкнул глаз и до утра отмахивал от Феди всяких надоедливых мошек и комаров. Товарищи его тоже не сидели без дела. Дзинька притащила Феде кусочек сала. Соловей принёс немного хлебца, а Деряба где-то разыскал федину берёзовую свирельку.

Проснувшись, Федя с удовольствием позавтракал и сказал:

— Вот уж никак не думал, что вы будете такие умницы. Спасибо вам, а тебе, Деряба, за свирельку особое спасибо. Только она мне пока не нужна. Я ведь опять иду на войну.

Друзья опустили головы, но ничего не сказали в ответ. Им тоже хотелось итти на войну. Федя обещал им писать письма и, махнув на прощанье зелёной шапочкой, ушёл.

И вот пришёл день — война со змеюнами кончилась. Гады были все перебиты, а Змеюлан Крылатый взят в плен. С него сорвали чёрные крылья и бросили в огонь, чугунный же панцырь разбили на мелкие куски.

И тут все увидели Змеюлана Крылатого в его настоящем виде. Это оказался жирный, волосатый слизняк, противнее всех самых гадких слизняков на земле.

Филин, увидя жалкий труп своего бывшего повелителя, бешено закрутил свой круглый жёлтый глаз и умер. Гадюки же предусмотрительно уползли под камни. Лишь наглые сойки попрежнему кричали: «Крра-крра»! — но на них даже Дзинька не обращала внимания.

Вскоре домой вернулся Федя, живой, невредимый. Он немножко прихрамывал, однако это не помешало ему выстроить новую избушку, гораздо лучше старой. И друзья снова стали жить-поживать да в походах выступать.

НАШ КРАЙ

К. Мурзиди

УРАЛ

Если скажут тебе,
Что Урал — это горные руды,
На высотах земных
И в глубинах богатства запас,

Что Урал — это щит,
На котором горят изумруды,
И сапфир голубой,
И подёрнутый дымкой топаз —

Это правда, поверь.
Только, кроме железа и меди,
Кроме ярких камней,
Нечто большее горы таят.

Неприступный Урал —
Это наше стремленье к победе,
Это наш человек —
Мудрый мастер и смелый солдат.

ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД

Б. Рябинин

Мы вошли в холодный железный ящик. Дежурный захлопнул дверцы, дал сигнал отправления, и пол четвёртого этажа внезапно поплыл вверх. Неожиданно короткий, прямой луч прорезал тьму и упёрся в стенку клети. Это инженер, повернув колпачок-аккумулятор, засветил свою шахтёрскую лампочку.

Чуть постукивает, потряхивает. Покачивается лампочка в руке инженера.

Внезапно клеть осветилась извне, плавно замедлила ход и остановилась. Загремели открываемые дверцы.

Мы — под землёй, на глубине четверти километра.

Широкий прямой тоннель уходит в обе стороны от свода шахты. Гирлянда электрических огней теряется в глубине его. Искрятся сургучно-тёмные сводчатые стены.

— Это рудничный двор, а дальше — главный откаточный штрек, — говорит инженер

Несмотря на многочисленные лампочки, в штреке полумрак: тёмные стены поглощают много света. Мы идём рядом с рельсами, стараясь не задеть головой проводов.

За поворотом штрека высокая, зашитая тёсом, камера. Сбоку дверь, наподобие калитки. Входим в неё. Странно: где мы?

Обширный зал. Большой высокий купол. Белые стены. Сияют тысячесвечёвые электрические лампы. Вдоль стен шеренгой стоят станки: токарные, сверлильные и др. Над станками — склонённые фигуры рабочих. Гудят моторы... Где мы?

Это подземная котельная мастерская.

Входим в штрек. Инженер останавливается и, включив аккумулятор, водит лучом света по стене.

— Видите? Вот эта красноватая полоса — сильвинит, это — вкрапления каменной соли, а это — грязь, глина. Пласты каменной соли пере-

межаются с пластами сильвинита. Наша задача добыть сильвинит. А соль мы пока не используем: она сильно засорена и идёт в отвал.

Зайчик от рефлектора прыгает по стене, освещая то светложёлтые, беднокремовые вкрапления, то синеватые, коричневатые, красные полосы, и смятые тёмносерые линии. Даже всем известная каменная соль, которую мы привыкли видеть всегда белой, не похожа здесь сама на себя. Ничтожная примесь окислов железа окрасила её в розовый цвет. Есть жёлтая и голубая соль. А вот молочно-белые искристые вкрапления. Это минерал сильвин — соединение хлора с калием. И рядом — сургучнокрасные куски: сильвинит — соединение сильвина с каменной солью.

— Порода наша слабая, но вязкая, — продолжает свои объяснения инженер, — поэтому и нет необходимости в крепи. Только нужно периодически осматривать все подозрительные места.

Долго-долго идём всё прямо. Наконец, издали доносится равномерный лязг металла. Ближе, громче... Открывается целая подземная площадь, в которую с разных сторон вливается несколько штреков. Один из них наклонный. По нему сцепленные тросом медленно движутся одна за другой вагонетки.

Из бокового штрека с гулом надвигается электропоезд. Маленький компактный электровоз, на котором согнутая фигура машиниста кажется непомерно большой, легко тащит тяжело нагруженный состав из двадцати шести вагонеток, громыхает на стыках рельс, искрит разрядами и прячется за поворотом. Через сотню метров мы тоже сворачиваем в старую выработку. Здесь тишина. Рельсовые пути сняты, не видно ни одного человека. Освещения нет, приходится освещать путь аккумуляторами.

Выработка сужается. Следуя изгибам пласта, она, как в ухабах, ныряет вниз, затем лезет круто в гору. Из тьмы то и дело внезапно вырастают над головой тяжёлые глыбы.

Ноги неожиданно натыкаются на невысокие, слегка покатые ступени. Ровная, почти отполированная поверхность. Красивый, тёмнокрасный, с желтоватыми прожилками, узор.

— Видали? Мрамор, — говорит инженер.

— Мрамор? Откуда он здесь? Да ещё такой красивый и отшлифованный.

Инженер доволен произведённым эффектом.

— Соль. Всё соль. Врубовка шла. Вот и получились плиты.

Во тьме загорается огонёк. Слышен отдалённый шум. Он нарастает по мере нашего приближения.

Мы на скрещении нескольких выработок. Одна из них ярко освещена. Один конец её теряется под уклоном, другой уходит круто в гору. Грохочет конвейер. Трясутся длинные железные желоба. В желобах — сильвинит. Он тоже трясётся и постепенно сползает под уклон. Но самый сильный грохот доносится с верхнего конца выработки, откуда поступает сильвинит. Там работает врубовая машина.

Врубовка похожа на чудовищного жука. Плоская, неуклюжая, лежит она плашмя в углу камеры и, вздрагивая от напряжения, грызёт стальными зубьями основание нависшей сильвинитовой глыбы.

Медленно-медленно, едва заметно для глаза, врубовка, пятясь, движется вдоль стены-забоя, выбрасывая непрерывную струю мелкой крошки. Помощник машиниста отгребает крошку лопатой. В однотонный басистый рокот врубовки вплетается дребезжащее стрекотание электрического бура: рядом рабочий бурит

в стене камеры скважины двухметровой глубины. Бур входит в толщу сильвинита, как нож в масло, потом в скважины заложат аммонит, соединят штук тридцать электропроводов и включат ток. Ухнет камера, дрогнет подрубленный пласт и тяжело осядет, рассыпавшись на отдельные глыбы сильвинита: тонн сто сразу.

Калийная соль! Там, на поверхности земли, огромный склад, похожий на ангар, полон ею до потолка. Целая гора, белая, искристая. Целый Эльбрус из калийной соли. Она нежна, идеально растёрта, как лучшая пудра. Её грузят в вагоны и отправляют во все концы Советской страны. Потом её набирают в лукошки и посыпают землёй. И земля даёт обильные урожаи.

Калий зовут «камнем урожая». Калий необходим каждому растению. И белая мучнистая калийная соль — удобрение, чудодейственно повышающее урожайность полей. Но калий необходим и промышленности — химической, стекольной, пищевой, жировой и пр. Калий — это необходимейшие для медицины лекарства и в то же время отрава для опрыскивания или опыления насекомых-вредителей. Он же составная часть пороха и важный реактив в фотографии. Мыло, спички, стекло, бумага — все они содержат калий. Трудно представить человечество без калия.

...Возвращаемся обратно. Грохот постепенно затихает за спиной. Но с разных сторон издали доносится шум работы: идёт бурение, лязгают в камерах лебёдки. Недра живут, не зная дня и ночи.

— Бум!!! — звонко ударило в стены, гулко отдалось под сводами и затихло в отдалении. Но тотчас же ударило с новой силой и вновь прокатилось по галлереям...

Это где-то взорвали камеру.

— Хорошо отвалили, — спокойно говорит инженер.

Мы подходим к четырёхугольной западне; в отверстие видны две деревянных перекладины, слабо освещённые снизу. Инженер лезет первым.

— Провода не заденьте, — слышится снизу его голос.

Мы в новом штреке — этажом ниже. Это откаточный штрек — самый шумный и оживлённый из всех виденных нами. С лязгом и скрипом тянут тросы скреперные лебёдки. Послушный тросу ковш загребает сильвинит и тащит его с собой. Один ковш, — и вагонетка полна до краёв.

— А что, ниже ещё есть штреки?..

— Нет, больше нет.

— Значит, конец соли?

— Нет, не конец. Каменная соль залегает здесь на шестьсот метров. Мы сейчас примерно на трёхсотом горизонте. Вот и считайте, сколько ещё под нами соли: пластик в четверть километра мощностью.

Ничего себе «пластик»!

Но и это ещё не всё. Оказывается, мы не были в верхней карналитовой зоне рудника. Там — карналит — вторая калийная соль, из которой на заводе извлекают металлический магний.

Калий, магний, соль... Одна лишь карналитовая толща местами достигает ста метров. Откуда здесь такие запасы солей?

В далёкие от нас времена к западу от нынешнего Уральского хребта простиралось обширное Пермское море. Восточная окраина его — там, где сейчас Прикамье,— была мелководной. Здесь шло энергичное испарение воды. Образовались лагуны, вода в которых быстро испарялась. Соль выпадала, оседала на дно толстым слоем. Временами на море вспыхивали штормы, взмученные массы воды заполняли лагуны. Ил

оседал на дне, смешиваясь с солью и засоряя её. Так слои чистой соли чередовались с загрязнёнными глиной солями. Первой отложилась соль, которая получила в будущем название каменной. Последними отложились особенно легко растворимые калийные соли, сначала яркокрасный крапчатый сильвинит, над ним встала стена карналита — кирпичнокрасная, местами как бы выцветшая, с прозрачно-водянистыми и жёлтыми пятнами. Карналитовую толщу покрыл тонкий слой сильвинита и каменной соли. А сверху опять легла глина. Получился как бы гигантский пирог с начинкой; глинистая оболочка предохраняла соль от растворения водой.

Прошли века. Море ушло. На его месте поднялись каменные кряжи Урала. Наносные породы погребли под собой толщу солей. Выросли леса наверху, потекли реки. И только солёные, незамерзающие ручьи, которым кое-где удалось пробиться сквозь глинистый панцырь и коснуться соли, напоминали о том, что в недрах земли миллионы лет хранится дар древнего моря.

...Инженер смотрит на часы. Уже четыре часа, как мы находимся под землёй.

Подземными закоулками мы быстро выходим к нижнему концу бесконечной откатки.

Перед нами целая подземная улица. Есть даже тротуары — широкие, приподнятые карнизы, обнесённые деревянными перилами. Под ногами поскрипывают мостки, сбитые из толстых досок. Внизу медленно движутся вверх по склону вагонетки, сцепленные бесконечным тросом.

Слышен говор людей, идущих по деревянным тротуарам. Доносится гул электровоза, доставляющего к нижнему концу откатки очередной груженный состав. Рабочие расцепляют вагонетки и подкатывают их под трос.

Город, необычайный подземный город, создан в осадочных толщах древнего Пермского моря, с улицами, площадями, с электрическим освещением, с электрическим железнодорожным движением. Как у всякого города, у него есть и шумные широкие проспекты и тихие извилистые переулки. И уже принимаешь как должное, когда узнаёшь, что у него есть и своя электрическая подстанция, и депо электровозов (трамвайный парк под землёй!), и мощная компрессорная, где огромные машины ритмично и шумно гонят по толстым трубам сжатый воздух для перфораторного бурения, и многое другое.

Близок выход. Уже ощущается тяга холодного воздуха от ствола шахты. Подземное путешествие окончено.

ПОЛЮД-КАМЕНЬ

Рисунки В. Бояринцева

Лет сорок назад, когда я был школьником, заходил к нам старатель — дедушка Кондратий. Он всю жизнь бродил по Уралу в поисках золота и любил за чайком рассказывать нам о своих похождениях. Помню, чаще всего он вспоминал неведомый Полюд-камень. Говорил, что далеко на севере стоят высокие-высокие горы — Полюдовы камни. Каждый из них зовётся особым именем; есть Поминенный камень, Ветлан, Писаный, Полюд-камень и другие. Все они родные сыны старого Урала. Некогда были с ним вместе, а потом оторвались от отца и стали жить отдельно. Из всех камней самый красивый и высокий — Полюд-камень. Назван он так в честь богатыря Полюда, который жил когда-то на этом камне.

Рассказывал дедушка и о реке Вишере, что течёт у подножия камня, и о могучих кедрах, покрывающих горы, и о рысях, медведях, сохатых, во множестве бродящих в дремучих лесах.

Крепко запомнились мне эти рассказы, и я с детства мечтал побывать в этом краю. Но жизнь моя сложилась не так, как я того хотел. Пришлось зарабатывать кусок хлеба, работая на хозяина-купца. Только спустя сорок лет мне удалось осуществить свою мечту. Случилось это так.

Свердловскому музею краеведения понадобились зарисовки с гор Северного Урала. Требовалось выехать на Вишеру и там с натуры зарисовать горы, реки, людей. Мне предложили эту поездку, и я с радостью согла-

сился. Погода, на моё счастье, стояла сухая; солнечная, хотя уже был сентябрь. Я живо собрался в дорогу и выехал.

До Чердыни я ехал на пароходе, а оттуда до Красновишерска рукой подать — тридцать пять километров. Я сел на грузовую машину, и мы поехали по узкой трактовой дороге. Дорога шла лесом. Была ночь, непроглядная темь. Фары едва освещали дорогу.

Наконец, впереди мелькнули два-три огонька. Это деревня Аралава. А вот и Вишера. Реки самой не видно; но влажный воздух и всплески волн обнаруживают её присутствие.

Машина проехала дальше, я остался один в глухом лесу, в полной тьме. Мне предстояло пройти с полкилометра, чтобы добраться до деревни Бахари. Шофер посоветовал: «Держитесь берега, а как дойдёте до небольшого овражка, переходите через мостик; а тут и Бахари».

Я последовал его совету. Стояла глубокая тишина. Явственно был слышен малейший шорох. Где-то близко раздавалось мяуканье. Я знал — это рысь; их здесь много. «Как бы не бросилась с дерева», — мелькала мысль, и я невольно ускорял шаг.

Дорожка спустилась в овраг, к речке. Хотя и темно, различаю: речка довольно широкая. За ней как будто лес.

Походил по берегу и в ту и другую сторону — нет никакого мостика. Решил перейти вброд. У берега оказалось глубоко, выше сапог. Решил обождать рассвета. Сел под густую пихту, прислонился к стволу, под голову сунул свои котомки и задремал.

Время уже было далеко за полночь. Скоро рассвет. Вдали вдруг засветился слабый огонёк. Я всмотрелся — обозначился силуэт избы; рядом ещё. Стало ясно — передо мной Бахари.

Спустился опять к речушке. Что за чудо — вода сбыла. Не река, а просто ручей. Недалеко два бревна лежат в воде. Я перебросил на другой берег свои этюдники, узлы и, балансируя, кое-как перебрался по скользким брёвнам.

Пошёл прямо на огонёк. В предрассветной мгле выступил двухэтажный деревянный дом. Внизу одно небольшое окно, вверху три — тоже маленьких. Сбоку высокое крыльцо. Типичная северная постройка. Слышу, говор в избе, плач ребёнка. Постучал палочкой в окно — говор затих. Ещё раз стукнул — никто не отзывается. Наконец, окно распахнулось, и старушечий голос прошамкал:

— Кого бог даёт?

Назвал себя. Окно закрылось. Потом старуха вышла, долго расспрашивала меня — кто я, откуда, зачем. В конце концов повела меня по крутой лестнице в длинные сени. Я вошёл в избу. Мне предложили кровать, даже с периной. Я лёг и быстро заснул.

Был полдень, когда я проснулся. Старушка укачивала ребёнка, тихо напевая: «Ах ты, золото моё, самоварное». У окна на лавке сидел хозяин, крепкий мужик, лет сорока.

— Вставайте, — сказал он, — будем уху есть.

Хозяин оказался рабочим бумажной фабрики с Красновишерска. Мы разговорились.

— Что за удивительная речка у вас, — сказал я. — Только что было много воды, и вдруг вода сбыла.

— Здесь все речки такие, — ответил хозяин. — Вот Вишера уж до чего капризна; то вода из берегов выйдет, то хоть вброд переходи. По ней и речки малые. Да вот взгляните.

В окно, куда указал хозяин, я уви-

дел ту самую речушку, через которую я переходил ночью. Она впадала в широкую реку такой красоты, какой я не встречал на Среднем Урале. Это была Вишера.

— Текут эти речки из-под скал и камней, — пояснил хозяин. — Иной раз целый водопад выбросят. Старики бают, что горы садятся и давят на воду. Воде-то некуда деваться, ну, она и бьёт вверх. Я уж покажу наши чудеса!

Позавтракав, мы вышли из дома. Хозяин повёл меня к тому месту, откуда Полюд-камень виден как на ладони.

День был солнечный. Я с интересом всматривался в постройки незнакомой мне деревни.

Деревня Бахари стоит в лесу. Её со всех сторон окружают кедры. Могучие, в три-четыре обхвата деревья подступают чуть не к избам. Меня поразили их оголённые корни. Причудливо сцепившись в клубок, они лежали прямо на поверхности земли. Они выступали огромными буграми, и казалось непонятным, как вообще держатся эти могучие красавцы.

Мы шли по берегу Вишеры. Извилистая лесная тропинка то подходила к самой реке, то поднималась в гору. На пути то и дело встречались горные ручьи. У одного такого ручья я невольно остановился.

Представьте себе камень. Из-под него сочится небольшой ручеёк. Неожиданно ручей пропадает, и вверх, метра на два, с силой вскидывается фонтан. Секунда — фонтан исчезает, внизу опять спокойно журчит ручеёк.

— Что это? — спросил я своего спутника.

— Кто его знает, — неторопливо отозвался тот. — Бывает раз десять в сутки выбросит воду. Потом, глядишь, нет ничего, куда-то уйдёт...

Мы вышли на поляну. На другом берегу неожиданно вырос камень Ветлан.

Кто бывал на Чусовой, тот знает, как красивы её суровые, величественные камни. На Вишере камни значительно выше, а по красоте и мощности, пожалуй, превосходят чусовские.

Не успел я достаточно налюбоваться на камень Ветлан, как перед нами вскоре предстал во всём великолепии Полюд-камень. У его подножия расстилалась низина, заросшая мелким лиственным лесом. Выше поднимались кедры и пихты. Они доходили почти до самой вершины, отчего гора казалась необыкновенно тёмной.

Удивительно, что на севере небо, особенно осенью, бывает какой-то необычайной белизны — серебристое. Вот такое небо окружало тёмную громаду горы. Скалистая вершина её светилась, как изумруд.

В этот день я не стал подниматься на гору, а ношёл к реке. Красавица Вишера жила шумной оживлённой жизнью. То и дело сновали буксиры с баржами. Они перевозили лес, камни, разные изделия.

Пока я делал зарисовки, погода изменилась. Подул ветер. Небо потемнело. Я взглянул на Полюд-камень. Он потемнел ещё больше, только вершина его попрежнему выделялась светлым пятном. К ней стремительно, со всех сторон неслись тучи. Это было величественное, редкое зрелище, которое я зарисовал потом в красках.

Хозяин сказал мне, что на самой вершине Полюд-камня стоит метеорологическая станция, где живут начальник и наблюдатель с семьями. Меня также предупредили, что на пути, примерно за километр от станции, попадётся ручей, и, по обычаю, существующему здесь, я должен принести воды на станцию, так как её работни-

кам трудно брать воду ввиду крутого здесь подъёма.

Надев рюкзак и взяв этюдник, я пошагал по дорожке. Вдоль неё стояли столбы. Здесь проходила телефонная связь между Красновишерском и станцией.

Утро было слегка морозное, ясное. Дышалось легко. Пихты, ели и лиственницы густо обступали с обеих сторон.

Первые пять километров пути прошли в постепенном подъёме, затем дорожка круто поднялась вверх. Итти стало труднее.

Не доходя до вершины с километр, я, действительно, наткнулся на родник. Он прятался в гуще елей и пихт. Вода в нём была кристальной чистоты. Над ключом поставлен небольшой деревянный сруб, тут же ковшичек из берёсты. Я взял воды, как меня предупреждали, и двинулся дальше.

Начался крутой подъём. Хвойный лес остался внизу. Дорожку обступали осины и рябины. Из-за густо разросшихся кустарников вершину горы не было видно. Неожиданно кустарник расступился, и я вышел на каменную площадку. Это и была вершина Полюд-камня. На ней стояли три небольших побелённых домика.

До революции здесь был женский монастырь. Теперь работает метеорологическая станция. Большинство приборов поставлено прямо между нагромождениями камней, а часть — в рябиновых зарослях. На колокольне установлен прибор, который, в случае лесного пожара, точно может определить место его возникновения. В этих случаях работники станции тотчас же по телефону сообщают в Красновишерск.

Начальник станции радушно встретил меня и отвёл для работы мне отдельную комнату.

Я скоро познакомился со всеми обитателями этой вершины. Здесь жило всего четыре человека — начальник станции, наблюдатель и их жёны. У работников станции нет регулярного отдыха, нет и перерыва

в работе. Приборы требуют проверки и записи через каждые полчаса, если не чаще. Наблюдения производятся и днём и ночью. Вниз — так они называют Красновишерск — спускаются не более одного раза в неделю — за продуктами.

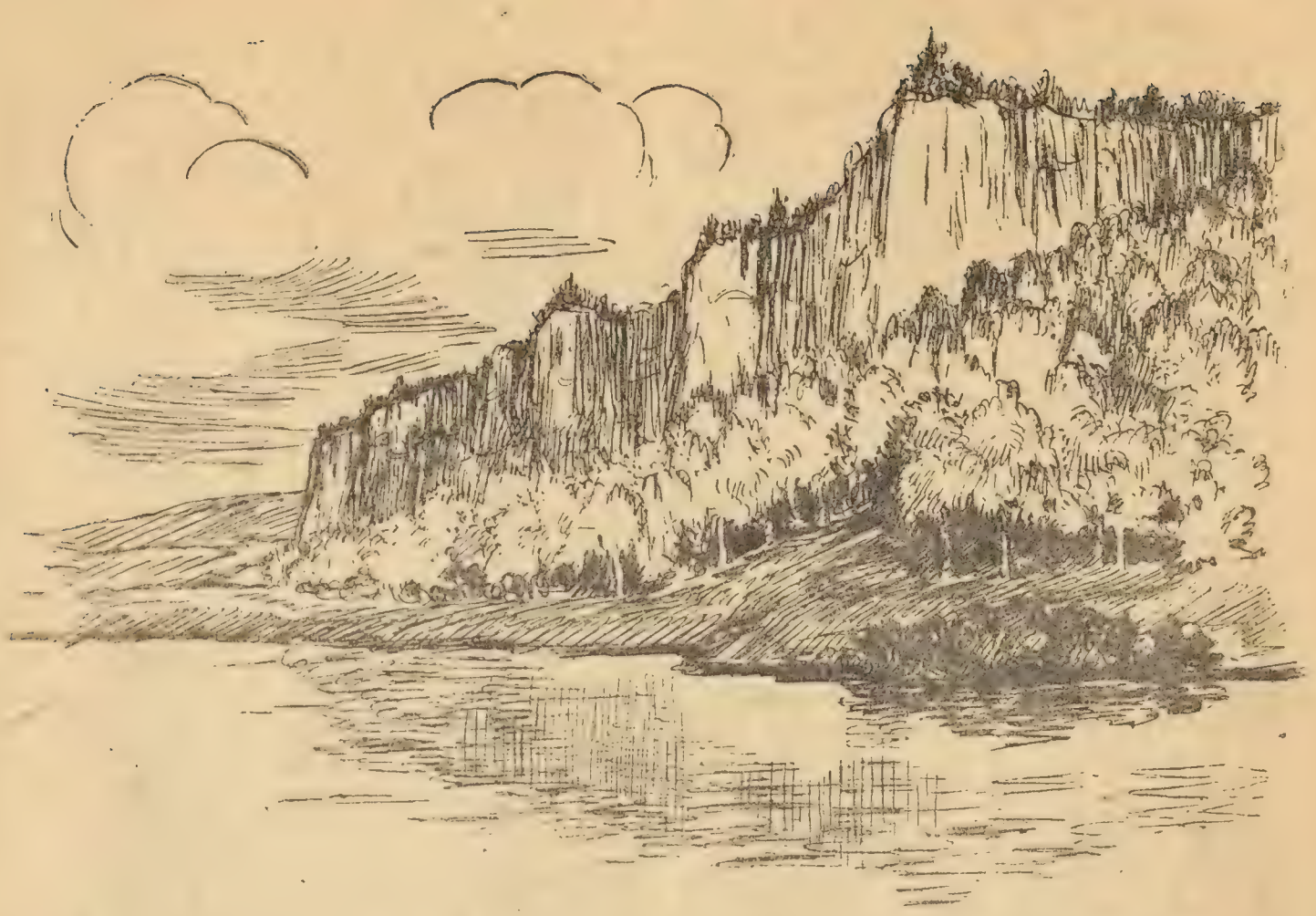
— Я так свыкся со своей горой, — сказал мне начальник, — что в город спускаюсь только по необходимости. Здесь идёт большая жизнь. По реке снуют пароходы, баржи, дымит завод, вокруг сёла, поля. Вчера поле казалось жёлтым озером, а сегодня смотрю — нет волн — значит, жатва закончена. Посмотрю утром на север — вдали дымок, я знаю — это Ныроб просыпается. А сколько чудных былин хранят горы! Пойдёмте, я покажу вам всю красоту нашего Урала.

Мы поднялись вверх от домика по узенькой тропочке. Глазам предстала чудная картина.

Прямо сквозь прорывы скал видно было, что откуда-то глубоко снизу тянутся к северу безбрежные леса.

— Видите, — сказал начальник станции, — направо над горизонтом бледносинюю полоску? Это главный хребет Урала, прямо — леса до самой тундры. А вот взгляните — светлая полоска, как бы вода, это Ныроб. Самого Ныроба не видно. Он закрыт лесом. Отсюда до Ныроба по прямой дороге километров двадцать пять. Обратите внимание на эту скалу, — он указал на камень, поразительно похожий на человеческую голову. — Направо от нас долина Вишеры. Далее, видите на горизонте, — гора с пятью остроконечными вершинами. Это камень Помиенный. Он на тысячу метров возвышается над уровнем моря. В длину — тридцать пять километров. Заметьте также белые каменные отвесы, вон за теми восточными холмами. Это камень Ветлан. А вот розовые, коричневые, сиреневые, белые точки. Это дома Красновишерска.

Я стоял зачарованный и так был поражён видимым, что уже не слышал, что говорил далее начальник.



Я сидел на уступе камня и всё смотрел, смотрел.

Как же хорошо здесь!

Я рискнул подойти к обрыву. Это знаменитый северный обрыв. Оказывается, вся северная сторона горы состоит из отвесных скал, некоторые из них высотой до ста метров. Есть от чего закружиться голове. Площадки между скал покрыты мхом, и на них, бог знает на чём, держатся пихты и елп.

Я работал на горе, как говорится, запоем. Рано утром выходил на вершину и писал до полудня этюды, затем после непродолжительного отдыха спускался за водой к ключу.

Спустишься, посидишь у ключа. Тихо-тихо, лишь вода журчит, да с лёгким шумом падают листья. Поднимешь вёдра воды и проходишь зарослями осинника, рябины, любуясь осенними красками. От подъёма, почти отвесного, не чувствуешь усталости. Взберёшься на вершину и рад, что совершил такую прогулку.

Первые дни погода была сухая, безветренная. Но вот однажды, рано утром, я поднялся на высокий камень и, взглянув вниз, ахнул. Сплошное море облаков расстилалось подо мной, и поверх их были видны только одни вершины скал. Немного погодя туман разрядился, в просветах показались другие скалы, вершины деревьев.

В полдень подул северо-западный ветер. Со всех сторон к вершине неслись тучи. Казалось, вот-вот сойдутся они, сверкнёт молния, грянет гром, но тучи, не дойдя до вершины, куда-то исчезали разом, а снизу взамен плыли другие. Недалеко где-то шёл сильный ливень, а на вершине горы, что называется, лишь слегка потрусило.

Сотрудники станции мне сказали, что на вершине осадков бывает значительно меньше, чем на остальных частях горы, и, что особенно меня поразило, — здесь гораздо теплее, чем внизу, особенно зимой.

Прошло несколько дней. Погода стояла переменная. Я успел сделать до десятка этюдов, немало зарисовок. Работа близилась к концу. Пошли дожди. Пора было возвращаться домой. Я распрощался с добрыми; милыми обитателями сказочной вершины и, навьючив на себя этюдники, зашагал в Бахари.

Там я прожил денёк и отправился на лодке в Красновишерск.

В последний раз кинул взгляд на тёмную громаду Полюд-камня, на его изумрудную светлую шапку. Прощай, чудесная гора! Кто знает, может быть, приведётся ещё раз увидеть тебя и вновь взобраться на твою крутую вершину!

В. Бояринцев.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Проф. В. Данилевский *Рисунки В. Цигаля*

I

Весной 1240 года повёл на Русь войско прославленный полководец, швед Биргер.

Наши цветущие сёла и города, бескрайные поля и луга, леса, изобильные зверем, и реки, богатые рыбой, решил захватить враг. Накопленные русским народом богатства никогда не давали покоя захватчикам.

Умело выбрал Биргер время для нападения на Русскую землю.

Только на землях Господина Великого Новгорода и младшего его брата — Пскова тогда мог спокойно дышать русский человек.

Киевские и черниговские, суздальские и переяславские, рязанские и тверские земли — всё было истоптано сапогами врага, нагрянувшего на Русь из далёких безбрежных азиатских степей.

На полях битв с монголами ещё не заросли травой груды костей человеческих, ржавые мечи и сломанные копья, расколотые щиты и иссеченные шлемы. На полях росла сорная трава. Только недавно перестали дымиться развалины городов и деревень.

Приняли на себя русские натиск монголов и сдержали волну завоевателей, преградив им путь на запад. Но защитив Западную Европу от завоевателей, кровью стала залитой Русь от причерноморских степей до новгородских окраин.

Приняли на себя русские натиск монголов и сдержали волну завоевателей.

Уверенно вёл воинов Биргер. Удача всегда сопутствовала ему. Совсем недавно, после тяжёлой борьбы, покорил Биргер страну финнов, называвшихся тогда тавастами.

Лёгкое дело; казалось, предстояло Биргеру теперь. Лишь новгородцы могли сопротивляться, а в Новгороде княжил юный Александр. Только двадцать лет исполнилось Александру Ярославичу. Думал гордый полководец,

что склонит перед ним голову неопытный новгородский князь, ещё не искушённый в боях. Биргер так был уверен в победе, что отправил Александру в Новгород послов, приказав им сказать юному князю:

— Если можешь, сопротивляйся! Знай, я уже пришёл и пленю всю землю твою.

Вот почему Биргер не спешил двигаться от берегов Невы и Ижоры, где был раскинут его стан. Ведь добыча впереди была верная, куда ей уйти.

Спокойно стояло шведское войско на Неве у впадения в неё Ижоры-реки. Ещё не один день переходов оставался до Новгорода.

Тихо было в лагере шведов, раскинувшемся на прибрежных просторах невских и ижорских. Стали под утро и часовые в стане врага дремать.

Крепок сон на рассвете, когда стелется густой туман над рекой и болотами, ожидая жаркого июльского дня. Крепок сон, заря ещё не успела послать ветер будить неподвижные ветки кустов, склонившихся к затихшей воде.

Крепким был сон, да не в добрый час пробуждение пришло.

Внезапно ударил Александр Ярославич на врага. Разбудили шведов русские воины звоном мечей.

Сеча на жизнь и на смерть вскипела на невских берегах в ясное утро 15 июля 1240 года.

— Кто придёт как враг на Русь — будет насмерть бит!

Так сказал юный Александр Ярославич, защищая родную землю.

II

Неожиданным был приход к русским рубежам Биргера с несметной ратью.

Ещё неожиданнее был молниеносный ответ Александра.

Стремительно действовал Александр. Кинул клич новгородцам:

— Постоим за землю Русскую. Разгромим врага!

По-новому задумал юный князь разгромить врага. Знал, что в разорённой Руси не собрать силу, равную той, какую накопил враг. Решил Александр применить небывалую внезапность нападения. Поскорее собрал кого мог и поспешил в обход.

В предрассветный час пятнадцатого июля воины Александра уже скрывались среди лесных зарослей у стана врага. Выждал Александр, пока разведка донесла, что крепко спит всё несметное войско Биргера. Разорвал тогда тишину голос Александра Ярославича:

— За родину! За Русь! Вперёд на бой!

В ярости мужества своего воины, возглавленные Александром, прокладывали себе путь в сердце вражеского стана. Широкую улицу проложил в рядах врага длинный меч Якова Полочанина. Валились, как снопы, трупы там, где взмахивал меч Сбыслава Якунича, никогда не имевшего страха в сердце своём. Гнал безудержно врагов Гаврило Олексич. Гнал до самых кораблей так, что по сходням успел на коне ворваться на корабль, где конным вступил на палубе в бой с корабельщиками.

Новгородская летопись рассказывает, что один из русских воинов, Миша, сумел потопить три корабля.

Но храбрее храбрых, отважнее отважных был сам юный Александр, проложивший себе путь до Биргера. Нанёс мечом удар по лицу гордого полководца.

А в тот час рухнул златоверхий шатёр Биргера. Подрубил шатёр Савва, посланный Александром.

Бежал тогда от ударов Александра надменный полководец, а вслед за ним бежало и всё его войско.

Внезапен был удар Александра. Стремительно победа пришла.

Показал юный Ярославич, что достойный он сын своего отца, Ярослава Всеволодовича, ещё в 1226 году познакомившего с силой русского меча и страну Емь; что зовётся теперь Финляндией, и шведов, и немцев. Показал юный полководец, что недаром матерью его была княгиня Феодосия, дочь Мстислава, прозванного Удалым. Не напрасно в жилах Александра Ярославича текла кровь его пращура Святослава, при одном упоминании имени которого у врагов стыла кровь и дыбом становился волос.

Разгромлен наголову был враг, усеяли трупы берега Невы и Ижоры.

На вечные времена наградил народ своего вождя прозванием Невский.

Певцы народные стали складывать песни про великую битву на Неве. И теперь поёт наш народ песню про 15 июля 1240 года:

А и было дело на реке Неве,
На Неве-реке, на большой воде,
Там рубили мы злое воинство...
Уж как бились мы, как рубились мы,
Корабли рубили по досточкам,
Нашу кровь руду не жалели мы
За великую землю Русскую.
Где прошёл топор, была улица,
Где летало копьё — переулочек..
Не уступим мы землю Русскую,
Кто придёт на Русь, будет насмерть бит.

III

Стон стоял на всей Псковской земле, истерзанной немецкими хищниками. Подлым предательством проложили себе дорогу немецкие псы-рыцари в древний Псков. Зарево пожаров освещало по ночам руины сёл и городов. Немцы грабили и истребляли всё живое. В лесных дебрях шарили немецкие звери, разыскивая женщин и детей. Захватывали людей и превращали их в рабов. Грабили всё, что под руку попадёт. Не брезгали ничем, обыскивая погреба и чердаки, выметая дочиста закрома и сусеки. Обнаглел зверь, напившись крови. Стали разбойники немецкие орудовать уже возле стен Новгорода.

Призвал тогда народ Александра Невского дать отпор немецким псам-рыцарям, пробравшимся на русскую землю. Поднял Ярославич народное ополчение против врага, что был грознее монгола и шведа. Вспоминая грозный 1242 год, теперь поют наши люди призывную песню тех дней:

Вставайте, люди русские,
На славный бой, на смертный бой.
Вставайте, люди вольные,
За нашу землю честную...
Живым бойцам почёт и честь,
А мёртвым слава вечная.
За отчий дом, за русский край,
Вставайте, люди русские.

Выгнал прочь Александр врагов из Копорья. Сбил с древних стен Пскова волчье знамя, немецкое. Обезопасил свои рубежи на северо-западе и на юго-западе. Один путь оставил Невский врагу — с запада, через озеро Чудское. Пошло немецкое войско по пути, который ему определил русский князь.

IV

Сверкая бронёй, быстрым ходом приближалась немецкая армия к русскому войску, стоявшему на льду Чудского озера.

Возглавляли немецкую рать рыцари, от головы до ног закованные в броню. Броня на всаднике, броня на коне. Только через крестообразный разрез на шлеме были видны рысьи глаза немецких насильников.

В первом ряду, плечом к плечу, было пять таких бронированных конников. Вплотную за ними, также плечом к плечу, во втором ряду — семь, в третьем — девять, в четвёртом — одиннадцать.

Такой бронированный таран возглавлял немецкую армию, построенную в виде клина. В обе стороны, по краям клина сверкали панцыри пятящихся рядов рыцарей, опоясывавших немецкий строй. Середину клина заполнили конные и пешие рыцари и простые воины. В тылу клина были знатнейшие из рыцарей.

«Свинья» — так называли подобный строй русские воины.

Лязгая железом и сталью, безликая масса всё быстрее двигалась на воинов Невского. Острый угол немецкой «свиньи» был нацелен прямо в центр русского войска. Немцы видели, что русские стоят, как и обычно, длинными, параллельными рядами, обращёнными лицом к врагу. Хорошо видели немцы через щели шлемов русские ряды, но видели не всё...

Врезался клин немецкий в русский строй и порвал его. Завыли звери-рыцари, предвкушая разгром русских, строй которых так легко им удалось прорвать. Взвыли, ликуя и не зная, что за встречу приготовил Невский немецкой «свинье».

Под прикрытием видимого немцам русского строя скрывались главные силы Александра Ярославича. Построил эти силы Невский особым образом — в виде угла, открытого в сторону немцев. От обоих крыльев — флангов переднего строя, неприметно для немцев начинался строй основных сил. Вершина угла лежала далеко, в глубине. Умышленно ослабил Невский передовой строй, чтобы немцы стремительно прорвали его и поглубже с разгона ворвались в мешок-западню, для них заготовленную.

«Пяток» — так называли воины Александра свой строй.

Вскочил немецкий клин в железные тиски русского пятка.

Отборная конница новгородская налетела с обоих сторон на рыцарскую «свинью». Сам Александр с дружиной ударил с тыла в немецкий клин. Сбились в кучу немцы, обороняясь отчаянно, пытаясь вырваться из русской смертной хватки.

Били русские немцев в лоб, в бок и в спину. Поработал на славу русский меч, потрудились много секиры и топоры, кистени и ножи.

Багровым от крови немецкой стал лёд Чудского озера.

Солнце и скользкий лёд, глубины вод и обрывы береговые — всё служило Невскому в тот грозный для немцев день — 5 апреля 1242 года.

С востока светило утреннее солнце прямо в глаза немцам, ослепляя их своим сиянием. Обрывы береговые преградили врагу путь к спасению. На гладкой

поверхности льда скользили и падали тяжёлые всадники. Легко выдерживал апрельский лёд русских воинов и проваливался под бронированными немецкими конниками. Раскрылась в разводьях ломавшегося льда тёмная глубина чудских вод. Пузырями отмечали закованные в панцыри рыцари свой последний след.

И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты...
Стоял суровый беспорядок
Железа, крови и воды,
На месте рыцарских отрядов
Легли кровавые следы.
Одни лежали, захлебнувшись,
В кровавой ледяной воде,
Другие мчались прочь, пригнувшись,
Трусливо шпоря лошадей.
Под ними лошади тонули,
Под ними дыбом лёд вставал,
Их стремена на дно тянули,
Им панцырь выплыть не давал.

Славой бессмертной покрыл себя Александр Невский. На вечные времена вошло в историю Ледовое побоище.

V

Прошло семьсот лет.

Снова на исконных землях русских, снова на псковской, новгородской и других наших землях льётся кровь. Снова летят с немецких плеч головы захватчиков, жаждущих нашей крови, наших земель, нашего достояния.

От Ледовитого океана до Чёрного моря идут небывалые бои, после которых немецкие захватчики навсегда исчезнут из жизни и больше не будут поганить страницы истории своими неистовыми делами.

Советские люди, которых ведёт великий Сталин, с неслыханной силой выполнят древний русский закон:

— Кто придёт как враг на Русь, будет насмерть бит!

СОДЕРЖАНИЕ

К. Мурзиди — Город-арсенал *(стих.)* 3
Е. Верейская — Синяя комната 5
О. Иваненко — Почта пришла 18
Н. Ляшко — Трое у щели 26

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Е. Трутнева—Княженика *(стих.)* 33
В. Мошков — Пернатый разбойник 34
К. Рождественская — Седьмой поход 39

НАШ КРАЙ

К. Мурзиди — Урал *(стих.)* 49
Б. Рябинин — Подземный город 50
В. Бояринцев — Полюд камень 54

РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ

Проф. В. Данилевский — Александр Невский 61

Редактор—составитель К. Рождественская

Подписано в печать 1943 г. Объем 4¼ п. л. уч.-изд. л. 4¾
Формат 70×92/16. Тираж 10000 НС Заказ № 1267 Цена 2 руб.

Филиал 1-й Образцовой типографии Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига»
Свердловск, ул. Ленина, 47.

20 коп.

руб.